



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

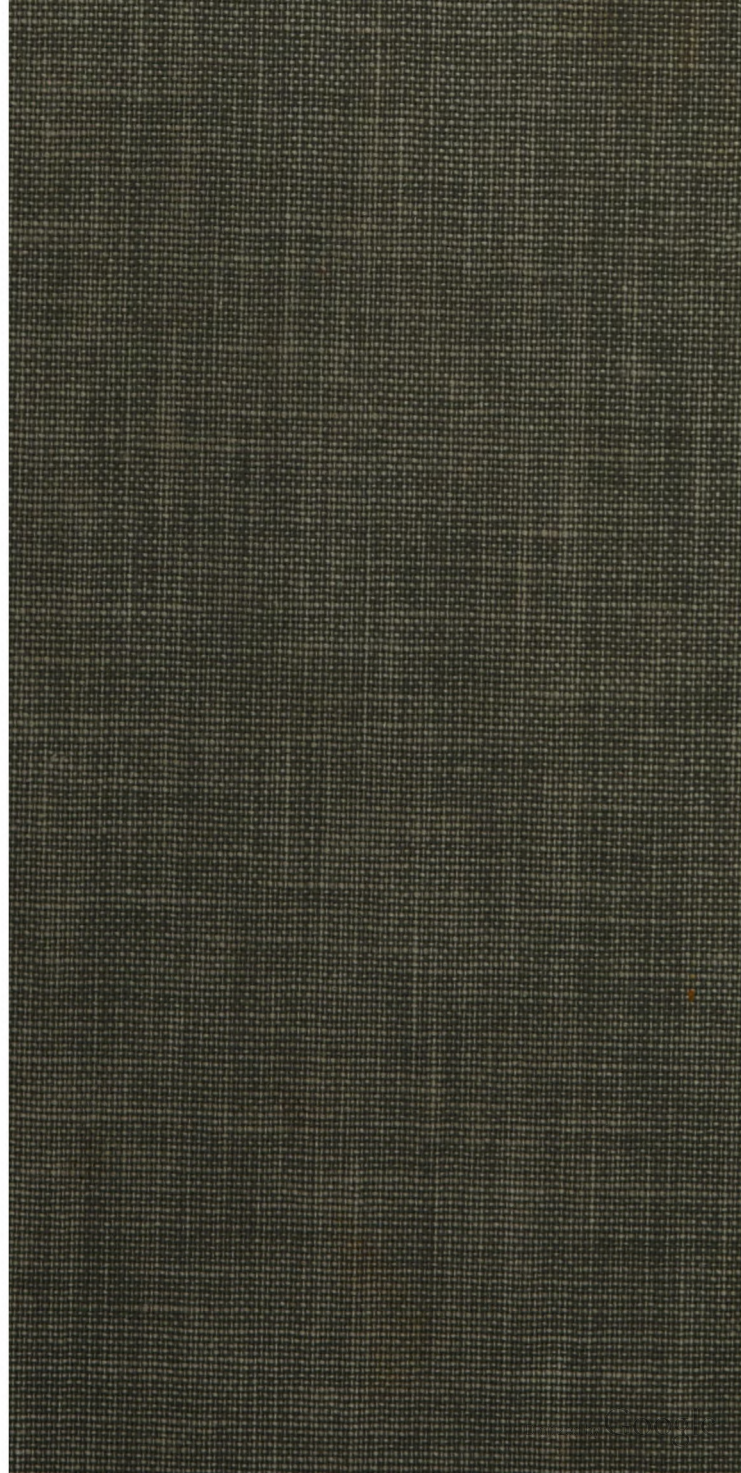
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Slav 4350.52.24

Slav 4350.14.21

Harvard College Library



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

Class of 1828

С. Подъяевъ.

Пытарства



1. Московскій работный домъ.—2. По этапу.



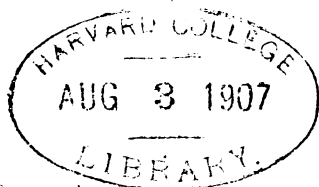
ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. № 34.
1905.

~~Slaw 4350.14.21~~

Slaw 4350.52.24



Minot fund.

Отъ издателей.

Предлагая вниманію читателей очерки С. П. Подъячева, мы считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ по поводу одного изъ нихъ („Московскій работный домъ“), имѣющаго, кромѣ чисто художественнаго, также и нѣкоторое публицистическое значеніе. Появленіе (въ 1892 году) этихъ картинъ изъ жизни работнаго дома вызвало въ свое время много толковъ (особенно въ Москвѣ), а въ Московской городской думѣ послѣдовали тревожные запросы гласныхъ и ревизіи. Московская администрація, съ своей стороны, сочла нужнымъ сдѣлать запросъ городскому самоуправленію относительно порядковъ въ подвѣдомственномъ ему учрежденіи.

Вскорѣ послѣ этого въ „Извѣстіяхъ Московской гор. думы“ появилась статья („Изъ жизни работнаго дома“), представляющая какъ бы отвѣтъ на очерки С. П. Подъячева и вызванные ими запросы. Нужно признаться, что отвѣтъ этотъ существенно отличается отъ обычныхъ возраженій нашихъ официальныхъ мѣстъ. Правда, авторъ находитъ, что, по его мнѣнію, повѣствованіе г. Подъячева „носитъ печать тяжелаго личнаго настроенія“, и поэтому „разсказчикъ не отмѣтилъ ни одной заслуги работнаго дома передъ людьми, обращающимися къ нему за по-

мощью.“ Тѣмъ не менѣе, органъ Московской управы признаетъ выдающіяся достоинства очерковъ, а также, что „отдѣльныя описанія г. Подъячева отличаются полной правдивостью: все это такъ бывало, а кое-что и до сихъ поръ такъ бываетъ въ работномъ домѣ.“

Лучшей стороною этого отвѣта является то, что указанія автора уже приняты во вниманіе. Такимъ образомъ, кое-что изъ фактическихъ условій рисуемаго г. Подъячевымъ быта отошло уже или отойдетъ вскорѣ въ область прошлаго. Но главный интересъ очерковъ, разумѣется, не въ этихъ чисто внѣшнихъ чертахъ. Многое въ этой тяжелой картинѣ коренится гораздо глубже тѣхъ условій, которыя въ состояніи измѣнить гор. управа, а живая и страдающая „на днѣ“ городской жизни человѣческая душа, правдиво отраженная авторомъ, сохранить свое значеніе при всякихъ условіяхъ.

Второй очеркъ перваго тома даетъ картины и впечатлѣнія этаповъ, т. е. учрежденія, порядки котораго уже не зависятъ отъ гор. самоуправленія. Много ли они отличаются отъ порядковъ рабочаго дома (и въ какую сторону)—читатель увидигъ при чтеніи. Нужно только прибавить, что ни о какой тревогѣ, ни о какихъ запросахъ съ чьей бы то ни было стороны, а также ни о какихъ улучшеніяхъ по поводу этого втораго очерка С. П. Подъячева мы не слышали. Такимъ образомъ, если рассказы нашего автора повліяли отчасти на извлеченіе сучка въ глазу городского самоуправления, то относительно бревна административно-этапныхъ порядковъ онъ далеко не былъ такъ же счастливъ...

Московскій работный домъ.

Тяжела и горька твоя доля,
Безпріютный, оборванный людъ!.

I.

Какъ и почему случилось это со мной,—читателю знать не интересно. Достаточно сказать, что я очутился въ Москвѣ безъ мѣста, безъ гроша денегъ, безъ знакомствъ и въ короткое время дошелъ до положенія совершенно отчаяннаго.

Какъ-то разъ, въ одинъ особенно тяжелый для меня день, попалъ я, у Преображенской заставы, въ извѣстный среди бѣднаго люда трактиръ, подъ названіемъ „нищенскій“, и здѣсь пропилъ съ себя всю одежду...

Проснувшись утромъ въ какой-то подвальной трущобѣ, на полу, около двери, я съ ужасомъ увидалъ, что на мнѣ, вмѣсто моего, сравнительно порядочнаго одѣянія, надѣто что-то до того грязное и рваное, что въ немъ не только показаться

къ знакомымъ, но и выйти днемъ на улицу нельзя... Въ головахъ, вмѣсто моей хорошей шапки, лежалъ на полу какой-то рыжій блинообразный картузъ... Я поднялъ его и подъ нимъ нашель свой паспортъ, завернутый въ синюю бумагу, и десять копѣекъ денегъ...

— Это тебѣ, другъ, на похмѣлье, видно, оставили, — сказалъ мнѣ лежавшій неподалеку отъ меня и наблюдавшій за мною старикъ, — кривой, рыжій и худой, какъ сушеный судакъ. — Говори слава Богу, что видъ цѣль!..

— Что-жъ теперь дѣлать? — воскликнулъ я невольно.

Старикъ засмѣялся, поднялся съ рогожки, на которой спалъ, сѣлъ, поджавъ ноги калачикомъ, свернулъ покурить, затанулся раза три-четыре, передалъ окурокъ мнѣ и сказалъ:

— Нако-сь, хвати... Чай, съ похмѣлья-то башка трещить.. Ну, съ кѣмъ грѣха не бывало... А дѣлать тебѣ больше нечего, только выпить надо перво-на-перво, вотъ что, а тамъ увидимъ.

— Выпить? — удивился я, — на что-жъ выпить-то. Гдѣ деньги?..

— Найдёмъ!.. Давайка-сь гривну-то... Я добавлю... закусить принесу... Выпьемъ, закусимъ, дѣло-то, глядишь, и обойдется... Чего тутъ!.. Эво-ся!.. Я самъ, братъ, не одинъ разъ на этомъ конѣ ѣзжалъ... Наплевать!..

Я отдалъ ему послѣдній гривенникъ. Онъ, весело ухмыляясь, ушелъ куда-то и скоро возвратился назадъ, неся сороковку водки и какихъ-то „обрѣзковъ“ на закуску.

— Теперича дѣло поидеть, — сказалъ онъ. — Мальё!.. Гляди, на пятакъ какихъ обрѣзковъ раздобылся — сливки!.. Хлѣбушка въ булочной подстрѣлили... Ничего, живетъ!.. Выпьемъ, закусимъ, ну, тогда — приходи, кума, любоваться!.. Такъ-то, другъ ситный!.. Ха, ха, ха!.. Тебя какъ звать-то?.. Женатый?..

— Женатъ.

— Еще того чище!.. Небось, дѣти?

— Двое...

— Ловко! Хо, хо, хо!.. Приходи, кума, любоваться!.. Н-н-да!.. Слабы мы...

Онъ сходилъ куда-то, принесъ стаканъ, налилъ въ него водки и далъ мнѣ.

— Пей!..

— Много...

— Лакай!.. елка зеленая... много!.. Говори слава Богу, — на меня напалъ. Видалъ я вечеръ, какъ тебя обдѣлывали, жалко стало... простъ ты... Я самъ такой!.. Пей, пей!.. Отдереть отъ сердца-то...

Я выпилъ и вскорѣ почувствовалъ, что у меня дѣйствительно какъ будто „отдираетъ“ отъ сердца... Стало легче... Положеніе перестало казаться такимъ ужаснымъ, какъ трезвому...

Мы разговорились... Онъ разсказалъ мнѣ всю свою жизнь, полную бѣдствій, пьянства, грязи и всевозможныхъ безобразій. Чего только не перенесъ этотъ человѣкъ!.. Былъ онъ и въ тюрьмѣ, ходилъ разъ десять этапомъ на родину, въ Костромскую губернію, былъ несчетное число разъ битъ, видалъ и холодъ, и голодъ...

— Самая, тоись, послѣдняя, паршивая собака, — говорилъ онъ, — краше мово живеть... И нѣтъ у меня никого... Одинъ... Издохну — никто „царство небесное“ не скажетъ... О-хо-хо!... Да!..

Онъ захмѣлѣлъ и сталъ плакаться на свою долю... Мнѣ эго надоѣло, и я хотѣлъ было идти. но онъ не пустилъ меня.

— Куда ты пойдешь?.. погоди до вечера, пойдемъ вмѣстѣ на Хиву *), тамъ ночуемъ у Ляпина... Бульонки купимъ... Ёдалъ бульонку-то когда?.. Нѣтъ?... Попробуешь... Штука первый сортъ и недорого. — А завтра... Завтра у насъ что, — какой день?

— Вторникъ.

— Вторникъ... Вотъ и ладно... Завтра, значить, иди ты, научу я тебя, въ Юсуповъ работный домъ... Тамъ по вторникамъ да по пятницамъ пріемъ...

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ?... Чудакъ!.. Куда-жъ тебѣ, акромья

*) „Хива“ — извѣстный Хитровъ рынокъ.

этого дома, идти?.. Останешься тамъ, заработаешь денегъ... Одежонку кое-какую справишь, тогда и айда домой, въ деревню... Приходи, кума, любоваться!.. Такъ-то!..

— Да неужели это правда?—воскликнулъ я.— И меня примутъ?..

— Извѣстно, примутъ.. Отчего не принять?.. Я тамъ разъ шесть былъ.. Примутъ! Одежду тебѣ дадутъ казенную.. Харчи... Двадцать монетъ за день плата..

— Да ну?..

— Вѣрно... Ты мастеровой, что-ли?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ... Ну, въ чернорабочіе запишутъ.. Все едино... Поживешь мѣсяцевъ пять, забьешь копѣйку, тогда и вонъ... Ну, и того... Приходи, кума, любоваться!.. Не тужи, братъ, все, глядишь, перемелется—мука будетъ... Такъ-то!.. О-хо-хо! Да!..

Я обрадовался... Мысль попасть въ тепло, заработать кое-что, чтобы одѣться и уѣхать домой въ деревню, развеселила и ободрила меня...

— Слава Богу,—подумалъ я,—еще есть, значить, исходъ изъ этого ужаснаго положенія!—Такъ, значить, завтра?—спросилъ я.

— Завтра... Пораньше... Часиковъ въ семь... Ночуемъ на Хивѣ.. Утречкомъ попьемъ чайку, я тебя и налажу...

— На чаекъ-то денегъ нѣтъ.

— Найдемъ!.. Да вотъ что, другъ: на тебѣ, я гляжу, рубаха-то новая. На кой она тебѣ песь!.. Тамъ казенную дадутъ.. Чайку бы сейчасъ попили съ лимончикомъ, а?..

— Что-жъ мнѣ — голому быть?..

— Зачѣмъ голому? Сдѣлаемъ смѣнку! Замѣсто этой другую получишь, да, окромя того, копѣекъ двадцать придачи.. Чего ужъ тутъ — проживали ворохами, не наживешь крохами.. Не рубаха тебя нажила, а ты ее.. Айда, значитъ!.. Все одно вѣдь до завтра жить надо.. Пить-ѣсть захочешь.. Стрѣлять не умѣешь.. Замѣтять.. Вляпаешься.. Елка зеленая!.. Тутъ и думать нечего.. Дѣло само показываетъ, какъ быть... Идемъ!..

II.

Въ трактирѣ онъ живо подыскалъ охотника на мою рубашку. Мнѣ дали „смѣнку“ такую, что страшно было смотрѣть, и, кромѣ того, четвертакъ денегъ...

Къ этимъ деньгамъ старикъ прибавилъ свой гривенникъ, а парень, купившій рубашку, двугривенный, и вся эта сумма была живо и торжественно, несмотря на мой протестъ, пропита нами...

До вечера еще было далеко, а сидѣть въ трактирѣ за пустымъ столомъ не полагалось. На улицу идти — холодно.. Положеніе опять казалось безвы-

ходнымъ.. Но, видно, мой новый благопріятель-старикъ былъ третій калачъ, выдавшій на своемъ вѣку виды...

— Вотъ что, другъ,—обратился онъ къ парню, купившему мою рубашку.— На кой она тебѣ песь, рубаха-то?.. Давай-ка ее махнемъ, а?.. Сичасъ бы, понимаешь, чайку попили съ лимончикомъ, а?.. Ты кто такой?.. Мастеровой?.. Безъ мѣста, что-ли.

— Безъ мѣста.

— Видать... Вотъ и онъ тоже,—указалъ онъ на меня,—безъ дѣловъ... Да я нашелъ ему мѣсто... Въ Юсуповъ работный домъ.. Завтра пойдетъ, поступить.. О-хо-хо... Приходи, кума, любоваться!.. Вотъ тебѣ бы тоже туда.. Одежа тамъ казенная... Харчи важные... Кашей кормятъ... По двугривенному за день плата.. Сметана, сичасъ провалиться, а не жизни!.. Сымай рубашку-то. Я ее сичасъ копѣекъ за сорокъ махну, а тебѣ надѣть свою дамъ.. Вотъ эту, гляди...

— А самъ-то?

— А мнѣ не нужно... Я такъ, безъ рубахи... Вишь, на мнѣ пиджакъ надѣтъ... Зашпилю у горла булавкой и ладно... Приходи, кума, любоваться!.. Сымай, чего тутъ волюнку-то тянутъ!..

Подвыпившій малый, не долго думая, согласился... Старикъ живехонько сдернулъ съ себя свою грязную и драную рубашенку и всучилъ ему... Малый переодѣлся... Старикъ „зашпилилъ“ воротъ.

пиджака булавкой такъ, что совсѣмъ не было замѣтно, что подъ пиджакомъ нѣтъ ничего, и, посмѣиваясь, ушелъ продавать рубашку...

Онъ возвратился скоро и принесъ денегъ... Заказали чаю, взяли „стюдьню“ и „сорокоушку“ водки... Я не сталъ пить... Они вдвоемъ живо осушили ее и оба, сильно захмѣлѣвъ, пустились рассказывать одинъ другому, поминутно ругаясь скверными словами, свои похождения и мытарства... Въ концѣ концовъ, малому захотѣлось еще выпить...

— Чекалдыкнуть бы еще по махонькой!—предложилъ онъ. — Да не за большимъ дѣло: денегъ нѣтъ!..

Старикъ, казалось, какъ будто только этого и ждалъ.

— Какъ такъ нѣтъ денегъ?!. — радостно воскликнулъ онъ.—Что ты, другъ... Денегъ нѣтъ?!. А это что?.. — Онъ дернулъ малаго за рукавъ поддевки.—Нѣшто это не деньги?!. Ахъ ты, голова!.. Чудакъ, сичасъ провалиться!.. Денегъ нѣтъ!.. Да вѣдь мы сами деньги...

— Ну, братъ, поддевку нельзя!—сказалъ малый.-- Главная причина: на мнѣ пиджака нѣтъ, одна жилетка.

— А на кой-те песь пиджакъ-то?—воскликнулъ старикъ. — Въ жилеткѣ проходишь!.. Любезное дѣло... Приходи, кума, любоваться!.. Есть объ чемъ толковать!.. Наплевать на пиджакъ!.. Жилетка есть—

говори слава Богу... Живы будемъ, акапируемся... Сичасъ бы, понимаешь, выпили сотку на двоихъ, да и айда на Хиву... Тамъ переночуемъ, а утромъ прямо на вѣрное дѣло, на работу.

— Не знаю ужъ, какъ и быть? — задумчиво произнесъ малый, оглядывая свою поддевку, — совѣстно въ одной-то жилеткѣ... Кабы лѣто...

— Если бы да кабы, — передразнилъ его старикъ. — Ишь, какой господинъ! Кто тебя здѣсь знаетъ-то? Говорю: завтра васъ обоихъ на вѣрное дѣло приставлю. Значить, толковать нечего!.. А поддевка ничего, — продолжалъ онъ, ощупывая ее, — важная.. За два съ полтиной съ руками оторвутъ ..

— Она не два съ полтиной мнѣ встала, — сказалъ малый, — много дороже... Работа домашняя, прочная...

— Ахъ, другъ, мало-ли что она тебѣ встала .. Да здѣсь, самъ знаешь, — Москва... Цѣны такой не дадутъ... Говори слава Богу, коли два съ полтиной получишь... А не хошь цѣлковый?.. Я самъ намедни пальто за рубль за двадцать отдалъ, а оно, кому не надо, три стоитъ.. На все, землякъ, время.. Н-н-да!...

-- Такъ-то такъ, а всетаки...

— Чего всетаки?.. Да будетъ тебѣ дурака-то ломать... Чай, не махонькой... Поддевки, что-ли, не видалъ?.. Чай, живы будемъ, не такого дерьма.

наживемъ... Брось... Все, другъ, что сегодня есть, то и наше, а завтра, что Господь дастъ... Такъ-то. .

— Ну, ладно! — согласился малый и махнулъ рукой,—гдѣ наше не пропадало! Вали... На, примамай..

Онъ скинулъ поддевку и, не глядя, кинулъ ее старику. Тотъ ловко подхватилъ ее на руки и сейчасъ же, очевидно, боясь, чтобы малый не раздумалъ, исчезъ куда-то.

Мы остались вдвоемъ. Прошло около часа. Старикъ не шелъ... Малый сталъ беспокоиться.

— Уйдетъ, старый чортъ, съ поддевкой-то... Ищи его... Дернула меня нелегкая...

— Придетъ!—утѣшалъ его я.

— А ты его знаешь?

— Какъ тебя...

Стали ждать... Прошло часа полтора... Малый сталъ совсѣмъ отчаяваться... Онъ чуть не плакалъ... Хмѣль съ него сошелъ совсѣмъ... Какъ вдругъ, около стола, совсѣмъ неожиданно, точно изъ-подъ земли, появился старикъ.

— Вотъ и я! — воскликнулъ онъ и ударилъ рукой по карману, гдѣ забренчали деньги,—вотъ они, денежки-то—грызутся... Въ Гавриковомъ продалъ за два семьдесятъ пять монетъ... А вы, чай, думали, не приду... Небось, я не такой человѣкъ!.. Я свое отдамъ послѣднее... На, землякъ, получай!.. Соточку, значить, сейчасъ дерганемъ, да и маршь на Хиву. . Лучше тамъ выпьемъ... Тамъ просторнѣе

нашему брату... За ночлегъ платить не будемъ.. Даромъ ночуемъ въ Ляпиномъ... Такъ-то вотъ, елка зеленая!.. Ха, ха, ха!.. А ты толковалъ: жалко... Приходи теперь, кума, любоваться!..

— Чего ужъ сотку лизать, давай сорокоушку,—предложилъ малый, пряча въ карманъ жилетки деньги,—много-ль въ соткѣ кишковъ-то...

— О?! А и правда твоя... Ну,—такъ, такъ, такъ!.. Давай сороковку... Эй, родной, подай-ка намъ половиночку...

Половой подаль водки. Мы,—на этотъ разъ и я,—выпили ее и, отдавъ деньги, отправились на Хиву.

III.

Отъ Преображенской заставы до Хитрова рынка конецъ не малый... На улицѣ было холодно.. Морозъ градусовъ въ двадцать... Мы въ нашихъ майскихъ костюмахъ не шли, а летѣли... Старикъ избѣгалъ людныхъ улицъ и велъ насъ какими-то переулками, обходя по возможности городовыхъ и зорко слѣдя за тѣмъ, нѣтъ ли гдѣ околоточнаго или, какъ онъ выражался, „антихриста“...

— Увидить,—говорилъ онъ,—замететь, проклятый, всѣхъ троихъ, какъ пить дать!.. „Пожалуйте, господа, на фатеру... Для васъ готова-сь“... Приходи, кума, любоваться!.. Меня намеренъ совсѣмъ было одинъ замелъ въ Зарядѣ... Удралъ, слава

Богу... Есть изъ ихняго брата собаки... А то есть и ничего... Въ Крещенье меня одинъ остановиль на Пятницкой... „Ты, говоритъ, что?“ — „Ничего, говорю, ваше высокоблагородіе“. „Видь, говоритъ, есть“? „Есть, говорю, ваше сіятельство“... А какой чортъ есть — нѣту! „Просишь, говоритъ, нищенствуешь“?... „Такъ точно, говорю, ваше-ся, потому зрѣніемъ отъ Господа обиженъ и опять грыжа... Страдаю грыжей... Заставьте за себя вѣчно Богу молить—подайте на ночлегъ“!.. Ничего не сказалъ, полѣзъ въ штаны, досталъ двугривенный. „На, говоритъ, чортова голова, только уходи, пока цѣль“... Ну, думаю, ладно... съ паршивой собаки хоть шерсти клокъ...

Пришли мы на Хитровъ въ сумерки... Среди площади, подъ огромнымъ шатромъ, толкалось еще много народу... Старикъ сейчасъ-же купилъ „бульонки“ и повелъ насъ въ трактиръ.

— Ужъ и бульонка,—говорилъ онъ дорогой,—языкъ проглотись.. скусъ... запахъ... князьямъ ѣсть, а не нашему брату, стрѣлку вѣчному...

„Бульонка“, которой онъ такъ восхищался и которая пріобрѣла на Хивѣ обширную извѣстность и права гражданства, благодаря своей дешевизнѣ, представляетъ вотъ что: всевозможные отбросы изъ мяса и косточекъ, выбрасываемыхъ по трактирамъ, ресторанамъ, харчевнямъ, какъ вещи никуда не годныя, — подбирають, рубятъ въ общую массу,

поджариваютъ, пускаютъ „духовъ“ въ видѣ перца и лавроваго листа, и „бульонка“ готова.

Трактиръ, въ который мы пришли, былъ, какъ и всѣ трактиры на Хивѣ, грязный, вонючій, переполненный золоторотцами...

Крикъ, шумъ, отборныя ругательства неслись со всѣхъ сторонъ... Дымъ махорки ѣлъ глаза... Лампы горѣли, какъ будто окруженныя туманомъ... Люди—оборванные, грязные, испытые, страшные, пили, ѣли, ругались, бѣгали, кружились, какъ будто въ какомъ-то водоворотѣ...

Мнѣ стало жутко... Тоска, какъ клещами, сдавила сердце.

— Бѣжать отсюда!.. Но куда? Куда въ такомъ костюмѣ?.. Кому я нуженъ?..

Я съ отчаяніемъ и съ какой-то злобой принялся пить купленную старикомъ водку, думая заглушить этимъ боль сердца...

Съ каждымъ стаканомъ въ головѣ у меня мутилось все больше и больше... Передъ глазами мелькали какіе-то разноцвѣтно-яркіе кружочки, часто - часто, до боли... Въ вискахъ стучало... Сердце готово было выпрыгнуть вонъ... Къ горлу подступали и душили непрошенныя слезы...

Опомнися я и нѣсколько пришелъ въ себя только уже на свѣжемъ воздухѣ, когда мы, вмѣстѣ съ другими людьми, шли по улицѣ въ гору, мимо части, къ Ляпинскому ночлежному дому...

IV.

У подъѣзда этого дома, подъ навѣсомъ и дальше по тротуару, по порядку, „въ затылокъ“ стояла толпа человѣкъ въ 500, ожидая когда отворятся двери...

Мы остановились въ хвостѣ этой ленты и стали ждать...

Провзительно-жгучій морозный вѣтеръ дулъ прямо въ лицо и пронизывалъ до костей... Люди жались другъ къ другу, корчились, топотали ногами, ругались, проклиная тѣхъ, кто такъ долго не отворяетъ дверей...

Такъ пришлось стоять около часу... Весь хмѣль слетѣлъ съ меня... Я положительно замерзалъ... Все тѣло тряслось, какъ въ лихорадкѣ... Зубы выколачивали дробь... Малый въ жилеткѣ, стоявшій впереди меня, скорчился въ дугу и, какъ мнѣ казалось, тихонько плакалъ... Стоявшій позади старикъ кряхтѣлъ и ругалъ какого-то племянника скверными словами...

Наконецъ двери отперли... Толпа зашумѣла и, толкаясь, хлынула туда, какъ лавина... Въѣстъ съ другими я очутился въ огромной полутемной „камерѣ“... Двойныя нары занимали ее всю, оставляя узкіе проходы около стѣнъ и посрединѣ... Черный, сводчатый потолокъ мрачно висѣлъ надъ голо-

вами, придавая необычайно угрюмый и дикий видъ всей обстановкѣ...

Необыкновенно гулкій, какой-то странный, хаотическій шумъ и гамъ неся со всѣхъ сторонъ... Мнѣ слышались въ этомъ шумѣ звуки музыки, лай собакъ, звонъ, смѣхъ, плачь, отрывистые возгласы и ругательства, отдаленные крики, шарканье множества ногъ по чугунному полу...

Дверь, безпрестанно визжа и хлопая, отворялась, впуская все новыхъ и новыхъ ночлежниковъ... Люди испытые, полуодѣтые, молодые, старые и совсѣмъ дѣти, ругаясь, толкаясь, крича, спѣшили занять мѣста на нарахъ. Что-то страшное, звѣриное было въ этой общей свалкѣ за обладаніе мѣстомъ... Вскорѣ всѣ мѣста на нарахъ были заняты, а люди все шли и шли... Стали ложиться на полу, въ проходахъ, полѣзали подъ нары... Крикъ и гамъ усиливался съ каждой минутой и, наконецъ, слился во что-то хаотически-страшное...

Двери заперли, наконецъ, и не стали больше пускать... Да и некуда было пускать, такъ какъ вездѣ, гдѣ можно было приткнуться и лечь, все было занято..

Воздухъ сталъ удушливо-тяжелъ... Лампа едва горѣла, окруженная туманомъ... Всюду: на нарахъ, на полу, подъ нарами, вспыхивали огоньки папирсъ... Курили махорку, и дымъ этотъ, разѣда-

вшій глаза, сплошной, удушливой волной плавалъ по „камерѣ“...

Пораженный всѣмъ этимъ, я сидѣлъ и думалъ, что вижу все это не на яву, а во снѣ... До того странна, дика, безобразно - ужасна казалась мнѣ вся эта, невиданная мною до сихъ поръ, картина человѣческаго униженія.

Нары были раздѣлены, какъ лошадиныя стойла, желѣзными переборками, такъ что, когда я легъ, то голова и половина туловища скрылись въ этомъ стойлѣ, другая же часть тѣла оказалась наружи...

Я легъ навзничъ, положивъ голову на пока-тую желѣзную подушку, похожую на монастырское „возглавіе“, и сталъ слушать...

Волна общаго, сплошнаго гудящаго шума мало по малу начала стихать... Стали слышны отдѣльные разговоры, смѣхъ, ругательства, вскрикиванья...

Мнѣ захотѣлось покурить... Я сѣлъ въ своемъ стойлѣ и заглянулъ въ другое, черезъ переборку, налѣво. Тамъ лежалъ на спинѣ, закинувъ руки за голову, костлявый, сухой мужчина... Его тонкія, длинныя руки были голы... Грубая, сѣрая, рваная рубаха висѣла клочьями... Очевидно, его сильно донимали насѣкомыя, потому что онъ ерзалъ какъ - то всѣмъ тѣломъ по нарамъ и сильно, точно опоенная лошадь, хрипѣлъ, тяжелымъ астматическимъ хри-

пѣніемъ... Я глядѣлъ на него, и онъ тоже, съ своей стороны, уставился на меня широко открытыми, мутными, страшными глазами... Потомъ поднялъ руку, прохрипѣлъ что-то и вдругъ страшно и дико закричалъ, забился всѣмъ тѣломъ, какъ подстрѣленная птица, въ припадкѣ падучей болѣзни...

Ужасъ охватилъ меня... Я хотѣлъ вскочить и бѣжать, но не могъ,—точно меня кто приковалъ къ мѣсту... Бѣлая пѣна клочьями показалась изъ его рта... Онъ страшно хрипѣлъ и бился.. Лицо у него сдѣлалось черно-багровое и какое-то невыразимо ужасное...

— Ишь его черти схватываютъ!..—услыхалъ я вдругъ позади себя голосъ и, оглянувшись, увидалъ молодого, лѣтъ 17-ти мальчишку съ отталкивающе-нахальнымъ лицомъ и съ папирской въ зубахъ...—Нажрется винища-то, дьяволъ! Ткни ему въ морду-то!.. Покою отъ него нѣтъ...

Онъ перегнулся черезъ перегородку и, схвативъ больного за волосы рукой, дернулъ въ сторону такъ, что голова стукнулась о перегородку.— Песъ поганый... дьяволъ!—добавилъ онъ злобно.— Убью, какъ собаку...

Меня какъ будто что-то рѣзануло по сердцу... Я отвернулся и упалъ ничкомъ въ свое стойло. Слезы подступили и сдавили горло... Расшатавшиеся всѣмъ предыдущимъ нервы не выдержали...

Не помня себя, я вдругъ заплакалъ, какъ баба, горькими, мучительными слезами..

V.

Оглушительный звонокъ разбудилъ меня утромъ... Я вскочилъ и долго не могъ сообразить, гдѣ нахожусь. Было еще совсѣмъ темно... Ночлежники, точно привидѣнія, нехотя поднимались съ своихъ логовищъ и шли въ двери... Я слѣдилъ за выходящими, надѣясь увидеть вчерашняго старика, но его не было... Вскорѣ раздался второй звонокъ, и кто-то пронзительно громко закричалъ: „Эй! вонъ отсюда всѣ! живо!..“ Толпа хлынула въ двери, и я вмѣстѣ съ нею очутился на улицѣ..

На улицѣ было темно... Тускло и печально мерцали фонари... Подъ ногами трещалъ снѣгъ, и пронзительно дулъ холодный вѣтеръ. Вышедшіе изъ ночлежнаго дома люди завертывались въ свои рубища и, какъ-то особенно жалко скорчившись, точно голодныя, забитыя собаки, разбѣгались въ разныя стороны.

Пробѣжавъ вмѣстѣ съ другими до Яузскаго бульвара, я остановился на углу, не зная, куда идти... Все тѣло дрожало мелкой и частой дрожью. Морозъ выжималъ изъ глазъ слезы, сердце мучительно ныло и плакало...

— Куда идти?.. Господи, что теперь дѣлать?—

съ отчаяньемъ шепталъ я. — Погибъ, погибъ... А дома?.. Что теперь дома?.. что теперь дома? Жена, небось, ждетъ извѣстій... дѣти...

— Чего тутъ торчишь?!.. п-ш-шелъ къ чорту! — раздався вдругъ позади меня грубый голосъ, и вслѣдъ затѣмъ я почувствовалъ ударъ въ спину, такъ что чуть было не упалъ. Обернувшись, я увидалъ городского. Онъ какъ-то злобно скалилъ зубы, намѣреваясь ударить меня еще разъ. — Пшелъ! — опять крикнулъ онъ. — Убью!..

Не дожидаясь повторенія, я отскочилъ отъ него и побѣжалъ налѣво, вверхъ по бульвару, глотая слезы и корчась отъ холода, самъ не зная, куда и зачѣмъ бѣгу.

Пробѣжавъ бульваромъ, я свернулъ въ переулокъ и наткнулся прямо на дворника, сметава-шаго съ панели снѣгъ. Онъ взмахнулъ метлой и ударилъ меня по ногамъ. Я упалъ въ кучу снѣга, такъ что руки мои по локоть ушли въ него. Увидя это, онъ громко „заржалъ“ отъ удовольствія. Я поднялся и, сдерживая слезы, спросилъ его: — За что ты меня ударилъ?

— Проходи, проходи! разговаривай тутъ! — сказалъ онъ, подходя ко мнѣ. — Вотъ я те еще трахну... сволочь!.. золотая рота!.. Куда бѣжишь-то? Небось, норовишь цопнуть что ни на есть...

— Гдѣ Юсуповъ работный домъ? — задыхаясь отъ слезъ и трясясь отъ холода, спросилъ я.

Дворникъ подошелъ ко мнѣ вплотную и заглянулъ въ лицо.

— А зачѣмъ тебѣ этотъ домъ?—спросилъ онъ какимъ-то совсѣмъ другимъ голосомъ и, поставя метлу къ фонарному столбу, сталъ свертывать папиросу. Я объяснилъ.

— А это, другъ мой, будетъ у Красныхъ воротъ въ Харитоньевскомъ переулкѣ... Вотъ здѣсь ступай, направо... не далеко... Да теперича еще туда рано.— Онъ помолчалъ, затаился и спросилъ, глядя мнѣ въ лицо:—Иззябъ?

Я ничего не отвѣтилъ и пошелъ было отъ него по указанному направленію.

— Эй, землячокъ, стой... погоди! — закричалъ онъ мнѣ вслѣдъ.—Погоди чутокъ!..

И остановился. Онъ юркнулъ въ ворота и минутъ черезъ пять вышелъ оттуда, подошелъ ко мнѣ и сказалъ, протянувъ руку:

— Нако-сь тебѣ гривну, попей чайку... Тутотко вотъ недалеча, за угломъ чайная есть... Погрѣйся.— И, говоря это, онъ, какъ-то торопливо и точно стыдась, сунулъ мнѣ въ руку гривенникъ и быстро отошелъ прочь.

Слезы сдавили мое горло.

— Спасибо тебѣ! — крикнулъ я, чувствуя, что вотъ-вотъ разрыдаюсь, и побѣжалъ отъ него прочь...

VI.

Придя въ чайную, я купилъ хлѣба, спросилъ чаю и сѣлъ въ уголокъ, гдѣ потемнѣе, къ столу, на другомъ концѣ котораго, положивъ голову на руки, а руки на столъ, крѣпко спалъ какой-то, одѣтый въ хорошее пальто, человѣкъ.

Я съ жадностью выпилъ нѣсколько стакановъ чаю, поѣлъ хлѣба и нѣсколько пришелъ въ себя. Было еще рано — половина седьмого, торопиться, значить, было некуда... Я закурилъ, взялъ потихоньку какую-то газетку и хотѣлъ было почитать, какъ вдругъ спавшій на другомъ концѣ стола человѣкъ поднялъ голову, пристально посмотрѣлъ на меня и сказалъ осипшимъ голосомъ:

— Покурить не оставите, молодой человѣкъ?

Я далъ. Онъ жадно затянулся нѣсколько разъ и, бросивъ окурокъ, сказалъ:

— А чайку стаканчикъ?.. пожалуйста!..

Я налилъ стаканъ и передалъ ему. Онъ взялъ его обѣими руками, грѣя ихъ, и сказалъ, глотая чай:

— Славно!.. спасибо вамъ... право... Вы давно здѣсь?..

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я, глядя на его испитое, еще совсѣмъ молодое и симпатично-глуповатое лицо.—Я недавно пришелъ...

— Откуда?— спросилъ онъ. Я отвѣтилъ, и мы слово за слово разговорились. Я разсказать ему свой мытарства. Онъ внимательно слушалъ, моргая добрыми подслѣповатыми глазами, и, когда я кончилъ, сказалъ:

— Ничего!.. поправитесь... У васъ всетаки, такъ сказать, есть еще пристань: деревня, домъ, жена, дѣтишки... Уйдете туда и снова жизнь... А вотъ мнѣ какъ быть? куда дѣться?.. Это вотъ вопросъ... Да-съ...

— А вы развѣ тоже безъ дѣла?—спросилъ я.

— Конечно!—воскликнулъ онъ. — Я потерялъ мѣсто и вотъ теперь, какъ ракъ на мели... Прописался вдребезги!.. Вѣдь все, что на мнѣ надѣто—смѣнка... Чортъ знаетъ что... право... Пожалуй, я вамъ разскажу, если хотите, какъ это все со мной случилось... Дѣлать-то нечего, все равно, и идти некула... Знаете, я вѣдь въ этой чайной пятую недѣлю, каждую ночь ночую—такъ вотъ, какъ изволите видѣть, сидя... У меня, понимаете, отекъ ногъ сдѣлался... Чортъ знаетъ, что такое... право... А вѣдь я—дворянинъ и нѣжнаго, такъ сказать, воспитанія

Онъ какъ-то жалобно засмѣялся, сказавъ это, и продолжалъ:

— Служилъ, понимаете, въ почтамтѣ... Получилъ награду къ празднику, навернулся товарищъ... пошла писать губернія!... Прописался, какъ сапож-

никъ... Очутился на Грачевкѣ... Денегъ нѣтъ... ничего нѣтъ... Пришелъ на службу, а меня на выносъ!.. Пять дней не являлся... Ахъ, чортъ возьми, скверно!..

Онъ какъ-то сразу оборвалъ рѣчь и глубоко задумался.

— Да это все пустяки,—началъ онъ опять, послѣ продолжительнаго молчанія.—Дѣло не въ этомъ, а дѣло въ томъ, что меня жена бросила... Понимаете, взяла да и бросила... Сбѣжала отъ меня, да не одна, а еще захватила собственнаго моего сынишку... а?

— Какъ же такъ?—спросилъ я.

— Да такъ, очень просто... „Ты,—говорить,—пьяница и кормить меня не можешь... Не хочу съ тобой бѣдствовать, дай мнѣ видъ. Жить съ тобой, все равно, не стану... ненавижу тебя, какъ пса...“ Такъ, понимаете, и сказала: „какъ пса“. Что тутъ дѣлать, а? Пришлось дать видъ. Такъ и разошлись. Она теперь въ Твери... у кого-то въ экономкахъ, и сынишка съ ней...

Онъ ударилъ рукой по столу такъ, что зазвенѣла посуда, и продолжалъ:

— Водку пью, какъ воду... Запить хочу... Нѣтъ, понимаете, никакого удовольствія! Стоить передо мною мальчишка мой и зоветъ, и манить: „папа, папа!“ Тяжело!.. ей-Богу, тяжело, молодой человекъ!.. Жизнь подлая... или я подлѣ... чортъ знаетъ, что такое... право... Хочу пулю въ лобъ... честное

слово! Больше дѣлать нечего... Дѣться некуда!.. одинъ... никому не пужень... спился... Что вы мнѣ на это скажете, а?

— Да что жъ сказать... мѣсто надо найти... перестать пьянствовать...

— Мѣсто! — засмѣялся онъ. — Гдѣ оно? Какое же мѣсто, когда у меня, понимаете, подъ этимъ пальто́мъ одно только голое тѣло... рубашки нѣтъ... Вотъ-съ, извольте взглянуть, коли не вѣрите!

Онъ распахнулъ пальто, и я увидѣлъ, что тамъ было, дѣйствительно, только „одно голое тѣло“.

— Куда, скажите, пожалуйста, кромѣ какъ въ адъ, меня въ такомъ видѣ примутъ, а?..

— Да что же у васъ здѣсь, въ Москвѣ, нѣтъ развѣ никого... ни родныхъ, ни знакомыхъ?...

— Какъ не быть—есть... Да только, чортъ ихъ возьми, подлецовъ: не принимаютъ! Развѣ это люди!.. Когда я жилъ хорошо—принимали... „Такой, сякой“... А вѣдь я, честное слово, тогда, какъ человѣкъ, гораздо хуже былъ... Да, плохо, плохо и плохо!.. Не знаю, право, что дѣлать... Посовѣтуйте!.. Вы, напримѣръ, что думаете предпринять, а?..

— Да что предпринять? Хочу вотъ сейчасъ идти въ работный домъ... Можетъ быть, и останусь тамъ. Случайно вчера узналъ, и вотъ, ухватился, какъ утопающій за соломенку.

— Знаете что,—воскликнулъ онъ, выслушавъ меня, — и я пойду съ вами... ей-Богу... а что?.

Вотъ только работать-то я того... нездоровится мнѣ... А, можетъ быть, тамъ есть, такъ сказать, и интеллигентный трудъ, а? вы не знаете? Право, пойду!.. Какъ вамъ, право, такая славная идея въ голову пришла и какъ васъ Господь на меня нанесъ... Удивительно!.. Давайте-ка, курнемъ на радостяхъ, да и поплывемъ... Хо, хо, хо! Работный домъ, такъ работный домъ... Не все-ли равно, гдѣ ни издохнуть, а?.. а что?.. „И пусть у гробового входа младая будетъ жизнь играть“... О, хо, хо!.. Чортъ ихъ возьми, подлецовъ!

Я далъ ему табаку и бумаги. Онъ сталъ немѣло вертѣть „собачью ножку“ и, засмѣявшись, сказалъ:

— Махорочка!.. Махорочку сталъ курить дворянинъ-то потомственный, а? Ха, ха, ха! Прежде у Макея было два лакея, а теперь Макей самъ лакей... О, судьба, судьба!.. Но такъ и надо... Такъ намъ, подлецамъ, и надо... Да сбудется реченное Іереміей пророкомъ, глаголющимъ.. и такъ, понимаете далѣе, и такъ далѣе... Кабы моя покойница маманъ увидала меня въ такомъ положеніи.. Картина бы это была! Помню я, знаете, у моего отца кучеръ былъ. Здоровенный такой мужчина, какъ быкъ. Губы имѣлъ красныя, феноменально толстыя и слюнявыя. И постоянно онъ, понимаете, махорку сосалъ, вотъ изъ этакой же „собачьей ножки“. Разъ пришелъ я, помню, къ нему, мальчишка, въ

каретный сарай, а онъ курить.—Какой ты, Гурій, табакъ гадкій куришь!—говору ему. „Нѣтъ,—говорить,—барчукъ, табакъ важный... На-ко, попробуй“. Вынимаетъ, понимаете, изъ своихъ слюнявыхъ губъ „цыгарку“ и подаетъ мнѣ. Я взялъ... Совѣстно какъ-то отказаться было. Дымлю!.. Вдругъ, понимаете, шастъ въ сарай маманъ.. Увидала... „Боже мой! что это такое? Какъ ты смѣлъ, гадкій мужикъ, изъ своихъ отвратительныхъ губъ давать ему курить.. Ахъ, ахъ, понимаете, заразится, заразится!“ Ну, понятное дѣло, Гурія этого къ чорту намахали, а меня наказали... А теперь? теперь я у золоторотцевъ выпрашиваю окурки, а то подбираю ихъ гдѣ придется, на бульварахъ... Отлично вѣдь, а?

Его лицо какъ-то подергивалось, а углы губъ опустились и нервно вздрагивали. Онъ очевидно сдерживалъ душившія его слезы и вдругъ какъ-то неестественно странно не то засмѣялся, не то заплакалъ и, вскочивъ съ мѣста, крикнулъ запахивая пальто:

— Идемте въ работный домъ!..

Я подошелъ къ буфету, отдалъ деньги и пошелъ вслѣдъ за нимъ на улицу.

VII.

Подойдя къ Юсуповскому работному дому, мы увидали, что у дверей подъѣзда стоитъ толпа людей... Было еще рано... Только что стало разсвѣтать, и дверей еще не отворяли... Мы подошли и смѣшались съ толпой...

Люди жались и корчились отъ холода, точно такъ-же, какъ у дверей ночлежнаго дома. Да и люди-то были тѣ-же, что и тамъ... Все та же самая „золотая рота“, рваная, грязная, голодная и холодная...

Всѣ ждали нетерпѣливо открытія дверей, а ихъ почѣму-то не отворяли... Толпа, между тѣмъ, все возрастала... То и дѣло подходили и подбѣгали новыя лица... Наконецъ, насъ собралось человѣкъ съ двѣсти.. Глухой ропотъ и шумъ стоялъ въ толпѣ...

— Скоро-ли они тамъ, черти!—слышались ругательства,—замерзнешь здѣсь!.. Имъ хорошо тамъ, въ теплѣ-то...

Стало совсѣмъ свѣтло, а насъ все не пускали... Морозъ, между тѣмъ, какъ будто усилился... Перезавбіе люди бѣгали по тротуару и жались другъ къ другу, какъ перепуганныя овцы..

Прохожіе, тепло и нарядно одѣтые, останавливались по ту сторону переулка и глядѣли на насъ

съ любопытствомъ Да, впрочемъ, зрѣлище и было занятное: нѣкоторые изъ насъ выкидывали полуобутыми ногами такія па, что впору заправскому танцмейстеру...

Какая-то толстая барыня, проѣзжавшая переулкомъ, остановила противъ насъ своего кучера и громко спросила:

— Что это такое?.. Что за люди?..

— Буря! — Крикнулъ ей кто-то изъ толпы — Черти! — добавилъ другой. — У-у-у, какая! — крикнулъ третій, и вдругъ вся толпа закричала: — У-у-у, какая! го, го, го!.. Ха, ха, ха! У-у-у, какая!..

Перепуганная барыня ткнула кучера въ спину, и тотъ, тряхнувъ возжами, пустилъ съ мѣста полной рысью.

— Держи!.. О-го, го!.. Ха, ха, ха!.. — заорала и загготала ей вслѣдъ толпа...

Вскорѣ послѣ этого маленькаго „развлеченія“ долго неотворявшіяся двери, наконецъ, отворились, толпа хлынула было въ нихъ, но швейцаръ не пустилъ.

— Тише, дьяволы! — привѣтствовалъ онъ насъ. — Входи по череду... Куда васъ чортъ несетъ, обормоты!.. У-у-у, окаянные, погибели на васъ нѣтъ!.. Передохли-бы тамъ, на Хивѣ-то ...Проходи, что-ли!.. Работники!..

Начали входить по череду...

Въ передней, налѣво у окна, сидѣлъ за сто-

ломъ писарь. Передъ нимъ лежала груда „дѣлъ“ въ бѣлыхъ оберткахъ... Онъ разбирать и готовить ихъ по номерамъ...

Прямо, отъ входной съ улицы парадной двери, вела на верхъ широкая лѣстница, а направо была открыта дверь въ небольшую, проходную, съ однимъ окномъ, не то приѣмную, не то какую-то старинную лакейскую комнату... Насъ всѣхъ, какъ барановъ или какъ маленькихъ поросятъ въ сенокъ, загнали въ эту комнату... Тѣснота и давка сдѣлалась ужасная... Нельзя было вытащить руки, повернуться. Меня и моего пріятеля „дворянина“ прижали къ стѣнѣ такъ, что намъ трудно стало дышать...

На стѣнѣ, на видномъ мѣстѣ, висѣла бумажка съ надписью: „Курить воспрещается“... Но на это не обращали вниманія и задымили со всѣхъ концовъ... Вскорѣ сдѣлалось жарко и душно, какъ въ банѣ... Швейцаръ нѣсколько разъ просовывалъ въ дверь свою бритую свирѣпую фізіономію и оралъ, что позоветъ городского и выведетъ вонъ тѣхъ, кто курить, но, въ концѣ концовъ, кто-то изъ заднихъ рядовъ пустилъ въ него оторванной отъ опорка подошвой, и это его какъ будто успокоило...

Такъ пришлось стоять часа два... Ноги начали ныть... Голова шла кругомъ... Нѣкоторые не выдержали и, опустившись, присѣли кое-какъ на полъ... Но сидѣть на полу было еще хуже, потому что давили и толкали стоявшіе... А разъ уже сѣлъ,

то подняться и встать на ноги не было никакой возможности...

Двери въ передней давно уже заперли и не стали пускать новыхъ людей, а насъ все держали въ неизвѣстности. Безконечно долго длилось это ожиданіе, пока, наконецъ, намъ приказано было выходить по одному въ переднюю, къ сидѣвшему за столомъ писарю.

Дошелъ чередъ и до меня, я подошелъ къ столу.

— Паспортъ есть?—спросилъ писарь.

— Есть.

— Фамилія?

Я сказалъ.

— Имя?

Сказалъ и имя.

— Званіе?

— Мѣщанинъ.

— Лѣтъ?

— Тридцать.

— Давай паспортъ!

Я отдалъ паспортъ и, сдѣлавъ налѣво кругомъ, хотѣлъ было встать тутъ-же въ передней, но швейцаръ не допустилъ этого безпорядка...

— Проходи! — крикнулъ онъ, указывая рукой туда, откуда я вышелъ, т. е. опять въ ту-же набитую людьми комнату.— Живо!..

Въ комнатѣ этой стало еще хуже... Люди тол-

кались и лѣзли другъ на друга, ругаясь и крича... Въ дверяхъ происходила давка... Тѣ, которые не записались, лѣзли въ переднюю, а имъ навстрѣчу пробивались обратно тѣ, которые записались... Получалась какая-то дикая картина напраснаго мученья. Въ комнатѣ стоялъ дымъ коромыслою... Записавшіеся искали мѣстечка, гдѣ бы приткнуться, а ихъ, въ свою очередь, давили тѣ, которымъ нужно было еще записываться... Послѣдніе боялись опоздать. Страшныя лица, потныя, блѣдныя, красныя, съ вытаращенными безсмысленно глазами, — мы казались выходцами съ того свѣта...

Процедура записыванья и отбирания паспортовъ, у кого они были, длилась безконечно долго. Но, наконецъ, благодареніе Богу, кончилась и она. Всѣхъ насъ оказалось 147 человѣкъ...

— Теперь куда же насъ?—спросилъ, наклонившись къ моему уху и держась за полу моего пиджака, дворянинъ. — Рѣзать или на колъ сажать? Какъ вы думаете?..

— А вотъ увидимъ, — отвѣтилъ я, — главное сдѣлано... Записали... Отмѣтили... Значить, приняли...

— Утѣшительно! — пожавъ плечами, отвѣтилъ онъ.—Вы ужъ меня, ради Христа, не бросайте.— Боюсь я до смерти!.. И чортъ меня сюда принесъ!.. Загнали, какъ грѣшниковъ въ адъ... Сиди тутъ!.. Хоть бы жрать скорѣй дали!.. Неужели не покормятъ,—какъ вы думаете?..

— Не знаю... Сомнѣваюсь...

— Гм!.. Ловко!.. Но стойте!.. Что это такое?.. Кажется, стали выпускать изъ ада?

Дѣйствительно, въ дверяхъ произошло какое-то движеніе.. Толпа заволновалась...

— Тише, черти! — крикнулъ кто-то, — вызываютъ!..

Толпа стихла... Какой-то человѣкъ, въ синей рубашкѣ, стоя на лѣстницѣ, ведущей наверхъ, началъ выкликивать насъ по фамиліямъ.

— Петровъ!

— Здѣсь!

— Проходи!

— Куда?

— Наверхъ... Дверь направо.

-- Похлебкинъ!

— Похлебкинъ! Что ты, чортъ сивый, спать сюда пришелъ, что-ли?.. Ну живо!.. Проходи!..

Дошелъ чередъ и до меня... Я побѣжалъ наверхъ... Вслѣдъ за мной, перескакивая черезъ двѣ ступеньки, летѣлъ „дворянинъ“... Мы вбѣжали съ нимъ на площадку и остановились... Направо была дверь, налѣво шла лѣстница наверхъ, на слѣдующій этажъ...

— Стойте! — дайте перевести духъ!.. — сказалъ дворянинъ, тяжело дыша, и добавилъ, показывая на дверь: — Сюда, что-ли?..

Мы отворили дверь и очутились въ огромномъ

и свѣтломъ залѣ... Посреди этого зала стояли крытые зеленымъ сукномъ столы, за ними сидѣли одѣтые въ синія рубашки писаря, а между нихъ, за первымъ столомъ, какъ бѣлый грибъ среди поганокъ, возсѣдалъ въ креслѣ какой-то необыкновенно строгій на видъ господинъ.

— Это, должно быть, самъ Юпитеръ!—шепнула дворянницѣ, указывая на него глазами. — Вотъ страсть-то!.. Вдругъ--прикажетъ насъ выдрать...

Залъ, между тѣмъ, быстро наполнялся народомъ... И какъ-то странно было видѣть въ немъ эгихъ жалкихъ, грязныхъ, оборванныхъ, жавшихся другъ къ другу, оробѣвшихъ людей...

По стѣнамъ висѣли портреты гг. Юсуповыхъ, а также портреты государей, начиная, кажется, съ Александра I-го... Сурово и грозно въ полъ-оборота глядѣлъ Николай I-й... Ласково и мягко, съ грустью на лицѣ взиралъ на своихъ „освобожденных“, вольныхъ людей Александръ II-й и, казалось, думалъ какую-то тяжелую и грустную думу...

Когда всѣ находившіеся внизу люди собрались въ залѣ, началась снова безконечная процедура записыванья: Кто?.. Откуда?.. Чѣмъ занимался?.. Гдѣ жилъ?.. Женатъ-ли?.. Есть-ли дѣти?.. Доброволецъ или полицейскій и т. д., и т. д.

Послѣ этого насъ отдѣлили, какъ овецъ отъ козлищъ: полицейскихъ (присланныхъ полиціей) отдѣльно, добровольцевъ (т. е. явившихся по соб-

ственному желанію) отдѣльно; снова пересчитавъ, выдали каждому по картонному на веревочкѣ билету съ № дѣла и велѣли идти наверхъ въ спальню...

Мнѣ достался № 2251-й.

— Ну, теперь мы не люди, — сказалъ дворянинъ, — а просто номера... Вы какой?.. Ну, я васъ такъ и буду звать: 2251-й, пожалуйста въ спальню.. Ха, ха, ха... Но зачѣмъ же, однако, въ спальню, а не въ столовую?.. Это глупо, наконецъ... Однако, идемте.. всѣ пошли... Охъ, что-то тамъ съ нами сдѣлають?..

VIII.

Огромное отдѣленіе спальни, сплошь заставленное койками, такъ что оставался одинъ только не особенно широкій проходъ по срединѣ, находилось въ верхнемъ этажѣ. Туда вела винтовая, полутемная, узкая деревянная лѣстница...

Спальня эта производила какое-то тоскливое впечатлѣніе... Все здѣсь было сѣро: сѣрыя стѣны, сѣрая одѣяла, сѣрый полъ, сѣрый потолокъ, и даже свѣтъ, проникавшій въ окна, казался какимъ-то сѣрымъ..

Здѣсь, кромѣ насъ, вновь пришедшихъ сегодня, толкалось много поступившихъ раньше и ожидавшихъ работы, которой пока еще не было...

Многіе изъ нихъ валялись на койкахъ. Нѣкоторые играли въ карты... Большинство же шлялось на подобіе одурѣвшихъ овецъ, съ какими-то странными, какъ мнѣ казалось, „голодными“ лицами, изъ одного конца спальни въ другой...

Мы, вновь пришедшіе, размѣстились, кто какъ умѣлъ и какъ могъ... Я, съ не отстававшимъ отъ меня „дворяниномъ“, сѣлъ на край порожней койки и съ любопытствомъ сталъ приглядываться къ людямъ и прислушиваться къ разговорамъ

Изъ разговоровъ я вскорѣ понялъ, что работъ никакихъ нѣтъ. Люди живутъ здѣсь пока безъ дѣла, и когда будутъ работы—не извѣстно... Между тѣмъ, народу накопилось много

— Здѣсь, въ Москвѣ, народу еще не ахти много, — говорилъ высокій, худой, косматый, съ глазами на выкатѣ мужикъ — А вотъ въ Сокольникахъ, въ тамошнемъ домѣ, бають, стрась што!.. Отседова туда гонять... Кажинный день партія... Васъ нонѣ, похоже, тоже туда погонять... Раздадутъ вотъ, немного погода, бѣлье. . въ баню сгоняють... одежду дадутъ и того... маршъ въ Сокольники...

— Слышите,—сказать дворянинъ,—намъ еще, значить, предстоитъ прогуляться въ Сокольники съ пустымъ, такъ сказать, желудкомъ... Любезный,—обратился онъ къ говорившему мужику,—

а въ какое мѣсто въ Сокольникахъ насъ погонять, не знаешь?..

— Какъ не знать.. не близко... Тишину знаешь?.. Ермаковская улица . Фабрика была допрежъ сахарная тамъ Борисовскаго.. Слыхать, можетъ?.. Ну, а теперича тамъ этотъ самый работный домъ... отделение то-есть.. Самому мнѣ тамотка быть не приходилось... Да и здѣсь-то я въ первой... Плотникъ я... по пьяному дѣлу попасть... Ну, а люди баили, которые оттуда пришли, больно плохо тамъ нашему брату... Главная причина, — работъ нѣтъ, а народу—сила!.. Вальма валить!.. Вотъ ужъ на ночь погонять туда... Увидимъ...

— А покормятъ насъ нынче... не знаешь, а?..

— Не знаю, братъ.. Ужъ ужинать будутъ... Да только, мотри, вамъ не придется... Потому, васъ въ баню погонять, а опосля бани одежду получать въ чихаузъ пойдете, а тамъ къ доктору на осмотръ... На врядъ!..

— Да какъ-же быть-то?... жрать хочется! .

— Какъ быть, терпи!.. Богъ терпѣльъ и намъ велѣлъ... Завтра пообѣдашь въ Сокольникахъ...

— Завтра!.. да до завтра-то сколько?.. сутки! помрешь вѣдь... Утѣшилъ: завтра... Что-жъ это такое?... я убѣгу!..

Окружавшіе засмѣялись...

— Ишь ты какой стрюкъ выискался, — послали голосъ, — ѣсть захотѣлъ... Убѣгу?.. Нѣтъ,

братъ, отседа не убѣжишь... Здѣсь крѣпче тюрьмы... ишь ты! Зачѣмъ тебя песъ съ Хивы-то пригналъ.. Жралъ бы тамъ бульонку... А то къ женѣ бы шелъ, она тебя супомъ накормила бы.. Ха, ха, ха! Баринъ дикой!..

Отъ этихъ насмѣшекъ мой дворянинъ покраснѣлъ и, наклонившись ко мнѣ, сказалъ:

— Чортъ ихъ знаетъ... Прибьютъ еще..

— Потерпите,—сказалъ я,—терпятъ-же люди..

— Какіе люди?

— А вотъ всѣ...

— Да развѣ это люди?

— Кто-же?

— Черти... Звѣри... Все, что хотите, но только не люди!..

Я посмотрѣлъ ему въ лицо, окинулъ взглядомъ его тощую фигурку и сказалъ:

— За такія слова васъ, пожалуй, дѣйствительно прибьютъ.—Онъ какъ-то сморщился и, помолчавъ, сказалъ:

— Покурить-бы!

— У меня нѣтъ... весь вышелъ...

— Попросите у кого-нибудь.

— Попросите вы сами...

— Ну вотъ, стану я у нихъ просить!.. Попросите вы... Вы къ нимъ ближе... Свои люди..

— Землячок!—обратился я къ почтенному съ виду и, какъ мнѣ показалось, доброму сѣденькому

старичку. — Нѣтъ-ли покурить?.. Одолжи, сдѣлай милость, на папироску...

Старичокъ посмотрѣлъ на меня, подумалъ и съ какой-то особенной мягкостью въ голосѣ сказалъ:

— Ступай-ка ты, родной, къ кобылѣ подъ хвостъ. Ишь ты, ловкой какой!.. Дай ему табачку!.. Табачокъ-то, чать, на деньги покупается... Какъ ты полагаешь?.. Чудно, пра, ей-Богу!.. Дай ему, видишь-ли ты, табачку, — обратился онъ къ близъ стоявшимъ людямъ. — Выискался какой табашникъ!.. Откедова ты такой склизкой... Табачокъ-то здѣсь дороже хлѣба... Дай ему табачку... Ахъ, въ ротъ-те!..

— Слышите?—сказалъ я дворянину.

— Хамъ!.. свинья!—проговорилъ онъ и замолчалъ, насупившись...

IX.

Прошло не мало времени... Стало смеркаться... Мы ждали, что вотъ-вотъ позовутъ получить бѣлье... Но насъ никуда не вызывали...

Спальня со всей ея обстановкой, съ толкающимися безъ дѣла какими-то ошалѣвшими оборванцами, надоѣла до смерти... Хотѣлось поѣсть, отдохнуть, успокоиться... Безтолковый, несмолкаемый гулъ человѣческихъ голосовъ раздражалъ нервы... Являлась какая-то безпричинная, непонятная злость...

— Чортъ знаетъ, что такое!—говорилъ дворянинъ, пожимая плечами, — скоро-ли конецъ?.. Надоѣло все это!.. Дуракъ я, что послушалъ васъ и пошелъ сюда... Вы виноваты... Какія, однако, идиотски-безсмысленныя хари! Пріятное общество, нечего сказать!.. Посмотрите, пожалуйста, вонъ на того парнишку... Вотъ отвратительная харя!.. Сходить, однако, развѣ внизъ?.. Узнать тамъ у кого-нибудь, скоро-ли примутъ относительно насъ какія-нибудь мѣры... Какого чорта, на самомъ дѣлѣ!.. Я вѣдь не кто-нибудь... не золоторотецъ... Привилегированное лицо... Я пойду!..

— Какъ хотите!—сказалъ я, чтобы отвязаться отъ него.—Идите...

Онъ поднялся и хотѣлъ было идти, но въ это время въ спальню вбѣжалъ или, вѣрнѣе, точно изъ-подъ полу выскочилъ какой-то молодой, въ синей рубашкѣ, малый и закричалъ во всю силу своихъ легкихъ:

— Эй, вы, золотая рота!.. Новенькіе! Въ чихаузъ!.. Бѣлье получать... Живо!..

Мы всѣ, точно съ цѣпи сорвавшись, толкаясь, рискуя сломать шею, бросились вслѣдъ за нимъ по винтовой лѣстницѣ внизъ...

На площадкѣ второго этажа насъ остановили... Направо была дверь въ какой-то полутемный корридоръ... Въ концѣ этого корридора горѣла лампа, и виднѣлась еще дверь въ кладовую или, какъ

здѣсь выражались, въ „чихаузѣ“, гдѣ и выдавали бѣлье...

— Становись всѣ въ ранжирѣ, по порядку,— оралъ малый въ синей рубашкѣ. — Живо!.. Ну, ты, чортъ косматый, куда лѣзешь? Становись, тебѣ говорятъ!.. Въ морду захотѣлъ!.. Встали?.. Ну, маршъ! Живо!.. Не задерживать!.. Кто получить бѣлье, иди внизъ, въ столовую... Тамъ дожидайся всѣ!..

Торопясь, словно на пожаръ, толкаясь, ругаясь, совсѣмъ какъ будто одурѣвъ, лѣзли мы въ „чихаузѣ“ за бѣльемъ, напоминая, вѣроятно, на взглядъ свѣжаго человѣка, толпу сумасшедшихъ...

Получившіе бѣлье крѣпко держали его въ рукахъ, какъ драгоценность, и торопливо, съ выраженіемъ боязни, какъ бы не отняли назадъ, бѣжали внизъ по лѣстницѣ, въ столовую...

Получивъ свою пару, я тоже отправился туда.. За мной, не отставая, слѣдовалъ „дворянинъ“. Онъ повеселѣлъ и расцвѣлъ, получивъ бѣлье...

— Вотъ это дѣло!— говорилъ онъ,— хоть и грубое, а все таки бѣлье... Отлично!— Бѣлье выдали и въ столовую послали... Очевидно, покормятъ... Иначе, зачѣмъ бы въ столовую, а?.. Какъ вы думаете?..

Но ему пришлось горько разочароваться: въ столовую насъ загнали лишь за тѣмъ, чтобы „гнать“ отсюда въ баню.

Когда всѣ собрались, надзиратель, хорошо и

тепло одѣтый, приказалъ намъ выходить на дворъ и строиться попарно...

На дворѣ было полутемно и страшно холодно. Кое какъ построившись и дрожа отъ холода въ своихъ нищенскихъ костюмахъ, мы стали ждать... Вышелъ надзиратель, пересчиталъ всѣхъ, выдалъ каждому по кусочку мыла и опять ушелъ... Пришлось снова стоять и ждать на морозѣ... Прошло съ полчаса... Мы стыли, тряслись и чуть не плакали отъ холода... Нѣкоторые стали громко роптать... Большинство же молчало, терпѣливо и покорно ожидая.

Наконецъ, явился надзиратель, велѣлъ перемѣнить фронтъ и становиться по порядку, одинъ за другимъ, „затылокъ въ затылокъ“... Послѣ этого насъ опять пересчитали и „погнали“, наконецъ, въ баню...

X.

Выйдя за ворота, мы сбились, какъ овцы, въ одну нестройную сплошную толпу и пошли посреди улицы, возбуждая своимъ видомъ удивленіе въ прохожихъ.

На улицахъ было много снѣгу... Онъ шелъ съ утра... Мы мѣсили его своими полуобутыми ногами и, корчась отъ холода, не шли, а торопливо бѣжали... У меня, къ довершенію бѣдствій, вдругъ

отвалилась подошва... Пришлось ступать въ снѣгъ прямо голой ногой... Сначала я чувствовалъ холодъ, потомъ какъ-то обтерпѣлся и, мысленно махнувъ на все рукой, бѣжалъ за другими...

У бань насъ остановили, построили опять по порядку, одивъ за другимъ, и стали пускать по череду. Я стоялъ въ хвостѣ и, когда, наконецъ, дошелъ чередъ до меня и я попалъ въ баню, то увидалъ, что тамъ не только мыться, а и встать-то негдѣ. Кромѣ насъ, какъ оказалось, въ банѣ въ этотъ же вечеръ мылись солдаты... Тѣснота, давка, ругань, крикъ, стукъ были невозможные... Баня казалась какимъ-то адомъ... Голыя тѣла, возбужденныя, озлобленныя, красныя лица, паръ, запахъ мыла, духота, едва горѣвшія въ туманной мглѣ лампы,—все это, вмѣстѣ взятое, представляло фантастически-мрачное и грустное подобіе ада.

Насъ торопили... Такъ или иначе, а надо было раздѣваться и мыться... Приткнувшись коекакъ у порога, я сдернулъ съ себя свою рвань и протискался къ крану. Какой-то добрый человѣкъ, завладѣвшій шайкой, предложилъ мнѣ мыться изъ нея съ нимъ вмѣстѣ. Я, конечно, съ радостью принялъ это предложеніе. Мыла у меня не оказалось... Я обронилъ его гдѣ-то... Обмывшись кое-какъ, на скорую руку, изъ шайки теплой водой, я побѣжалъ одѣваться, радуясь всетаки, что хоть такъ-то пришлось сполоснуться и надѣтъ бѣлье на чистое тѣло.

Процедура мытья продолжалась не долго, потому что торопили и подгоняли. Тѣмъ, которые вымылись и одѣлись, не позволялось оставаться въ банѣ, а приказано было выходить на улицу и тамъ ожидать, когда кончатъ и выйдутъ остальные...

Это стояніе на улицѣ послѣ жаркой, душной бани я никогда не забуду!..

Читатель! если у васъ добрая душа, представьте себѣ несчастныхъ, жалкихъ, полураздѣтыхъ людей, голодныхъ, выгнанныхъ изъ жаркой бани на морозъ... Представьте страдальческія лица стариковъ, скорчившіяся, трясущіяся фигуры молодыхъ,— всю эту страшную, унизительную картину человѣческаго бѣдствія и позора... Представьте и... подумайте иногда объ этихъ несчастныхъ братьяхъ, ибо они тоже люди!..

XI.

По возвращеніи изъ бани въ работный домъ, намъ, полузамерзшимъ, не дали ни поѣсть, ни пообогрѣться, а прямо „погнали“ въ „чихаузъ“ получать верхнюю одежду...

Всѣ мы выстроились въ холодномъ корридорѣ, другъ за другомъ, точно такъ же, какъ при получкѣ бѣлья, и начали снимать съ себя, по приказанію „начальства“, свою собственную одежду и сапоги...

Каждому изъ насъ выдали по бичевкѣ и велѣли

этими бичевками какъ можно крѣпче связать узлы съ своей одеждой... Если же узелъ стягивался не крѣпко, то его съ ругательствомъ развязывалъ человѣкъ, завѣдывавшій приѣмомъ и выдачей одежды, и кидалъ его въ лицо владѣльцу...

Другой человѣкъ сидѣлъ у двери при входѣ въ „чихаузъ“, записывалъ №№ и фамиліи и выдавалъ мѣдные блестящіе кружочки съ номерами, по два каждому. Одинъ изъ нихъ привязывался къ узлу съ одеждой, другой выдавался на руки.

Оба они, и записывающій, и выдающій одежду, страшно злились и ругались, на чемъ свѣтъстоитъ... Вѣроятно, имъ страшно все это надоѣло, и они отводили душу...

Одежду выдавали старую, рваную, вонючую и грязную... На ноги — мягкіе, сдѣланные изъ шерстяныхъ жгутовъ, „чюни“, точно такіе, въ какихъ бабы богомолки ходятъ весной къ преподобному Сергію...

Выдавали разное: одному попадалъ коротенькій, „этапный“ полушубокъ, другому изъ толстаго сукна не то пиджакъ, не то поддевка... Штаны тоже были разные: нѣкоторымъ попадались изъ толстаго сукна и довольно крѣпкіе, другимъ какіе-то синіе, тонкіе, какъ тряпка... Моему „дворянину“ (мы стояли съ нимъ на „череду“ послѣдними) совсѣмъ было не выдали никакихъ: ему дали рва-

ный пиджакъ, чюни, а штановъ не оказалось: всѣ вышли!

— Нѣтъ штановъ! — сказалъ выдававшій одежду.

— Такъ какъ же мнѣ быть-то? — спросилъ дворянинъ, разводя руками, — безъ штановъ вѣдь невозможно!..

— Ну, еще разговаривать сталъ!.. и безъ штановъ пойдешь!..

— Отдайте мнѣ назадъ мои.. Я въ нихъ пойду.

— Молчи, чортъ!.. Поговори еще!.. Въ рыло захотѣлъ!..

— Да какъ же я безъ штановъ-то... Идіоты вы эдакіе... Говорятъ, насъ въ Сокольники погонятъ... какъ-же я пойду?..

— Такъ и пойдешь... не великъ баринъ-то... Ночью не видать, а тамъ дадутъ...

— Не пойду я безъ штановъ!

— Не пойдешь?!

— Не пойду!.. Что за безобразіе такое... Я жаловаться буду...

— Не пойдешь?! Жаловаться! такъ вотъ тебѣ штаны... На, получай!.. Иди жалуйся!

И прежде, чѣмъ онъ успѣлъ что-нибудь сказать и сдѣлать движеніе, его схватили за шиворотъ и безъ церемоніи вышвырнули въ корридоръ...

— Какъ вамъ это покажется, а? — обратился онъ ко мнѣ, чуть не плача. — Что-же это за самоуправство такое, а?.. Казенныхъ не даютъ, свои собствен-

ные отобрали, да еще и по шеѣ бьютъ!.. А, что? Вѣдь я говорилъ: бить будутъ... Такъ и вышло... Во всякомъ случаѣ я безъ штановъ въ Сокольники не пойду... Простудиться мнѣ, что-ли, чортъ ихъ возьми, подлецовъ!..

— Къ доктору!.. Эй, идите къ доктору на осммотръ!—закричалъ кто-то —Къ доктору, къ доктору!..

— Остается только теперь послать насъ еще къ чорту!—сказалъ дворянинъ и добавилъ:—Вотъ хожденіе-то души по мытарствамъ. . Однако, хорошъ на мнѣ костюмчикъ... Не правда-ли?.. Очень миленькая выйдетъ, такъ сказать, жанровая картинка прогуляться такимъ образомъ въ Сокольники, а?..

Я посмотрѣлъ на него и не могъ не засмѣяться. Широкіе, стоптанные, на босу ногу, чюни, широчайшіе „невыразимые“, драный, сальный пиджакъ и высокая, какъ у Шевченка, барашковая (своя) шапка...

— Клоунъ!—сказалъ онъ съ горечью.. —Вотъ если-бы теперь на меня покойная маманъ взглянула, а? Фу, ты, чортъ!... „И похоже это на правду? Все похоже на правду, все можетъ статься съ человѣкомъ“!..—продекламировалъ онъ изъ Гоголя и, какъ-то отчаянно махнувъ рукой добавилъ: — Наплевать!...

ХІІ.

Докторъ, почтенный съ виду, бородатый, съ очками на носу господинъ, спасибо ему, не задерживалъ насъ. Его осмотръ оказался до крайности простъ.

Онъ сидѣлъ за столомъ вмѣстѣ съ какой-то барышней въ чолкѣ, вѣроятно фельдшерицей, и, не глядя на паціента,—спрашивалъ себѣ подъ носъ:

— Номеръ дѣла?

Паціентъ подавалъ картонный №.

— Грыжа есть?..

— Нѣтъ.

Барышня съ чолкой брала № и дѣлала на немъ съ другой стороны клеймо, букву С, т. е. „способенъ“.

— Слѣдующій!

Подходилъ слѣдующій.

— Грыжа есть?

— Нѣтъ.

— Проходи!.. Слѣдующій! Грыжа есть? и т. д.

Дошелъ „чередъ“ до дворянина.

— Грыжа есть?

— Есть!

Докторъ поднялъ голову и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Давно?

— Не помню, съ какихъ именно поръ, по всему вѣроятію, какъ я думаю, съ дѣтства... Наслѣдственная, навѣрно... потому и отецъ мой страдалъ ей-же... Да, кромѣ того,—продолжалъ онъ,—я чувствую боль въ бокахъ, и вообще я нездоровъ и на тяжелую работу не способенъ.

— Гм!.. Ну, неспособенъ, такъ и запишемъ, что „неспособенъ“... Не зачѣмъ было идти сюда: здѣсь не богадѣльня, а работный домъ... Неспособенъ!—обратился онъ къ барышнѣ...

Та положила на № клеймо Н., т. е. „не способенъ“, и вручила дворянину.

— Проходите!.. Слѣдующій!..

XIII.

Послѣ докторскаго „осмотра“ насъ опять загнали въ столовую. Было поздно—десятый часъ вечера... Пора бы дать отдохнуть и покормить измучившихся и наголодавшихся за этотъ безтолковый день людей. Но не тутъ-то было! Оказалось, что насъ сейчасъ-же „погонять“ въ Сокольники.

Началась снова безконечная переключка людей по фамиліямъ.

— Ивановъ! Сидоровъ! Столбовъ! Стригуновъ! проходи къ двери... Живо!.. Стройся по-парно!..

— Ты что безъ штановъ, косматый чортъ?!—заоралъ надзиратель, когда дошелъ чередъ до дворянина.—Гдѣ штаны?.. Пропилъ, что-ли?..

— Мнѣ не дали... Не хватило...

— Какъ не дали!.. Врешь?..

— Не дали...

— Какъ-же быть?.. Нельзя-же тебѣ идти безъ штановъ... А, чортъ тебя задави!.. Канителься съ тобой!.. Эй, Шинкаренко!— обратился онъ къ молодому парнишкѣ, стиравшему со столовъ соръ.— Сбѣгай на спальню, возьми у пѣвчихъ штаны какіе-нибудь похуже... Скажи, за нихъ послѣ новыя дадутъ... Отходи прочь!—заоралъ онъ на дворянина.—Эй, кто тамъ слѣдующій... Киселевъ! Перовъ! Эстенъ! выходи скорѣй! дьяволы!

Наконецъ, насъ вывели на дворъ, у воротъ опять пересчитали и тогда только „погнажи“ въ Сокольники...

Голодные и злые шли мы, не соблюдая никакого порядка, какъ попало, среди улицы, мѣся чюнями рыхлый и глубокій снѣгъ. Прохожіе останавливались и глядѣли на насъ... Нѣкоторые подавали деньги, думая, вѣроятно, что это идутъ арестанты. Дворники и извозчики глумились и острили на нашу счетъ...

— Эй, землячки, куда Богъ несетъ?.. Ай въ деревню отправляетесь къ женамъ?.. Кланяйтесь тамъ нашимъ.. На Хиву-то когда придете?.. Го, го, го...

Съ болью въ сердцѣ и съ чувствомъ невыносимой гнетущей тоски, шелъ я за другими, думая

не о себѣ, а о своихъ близкихъ, оставленныхъ тамъ, дома, въ деревнѣ. Что, если бы они узнали про мои походы?

Долго шли мы... Чѣмъ дальше, тѣмъ все глуше, печальнѣе и темнѣе становилась улица... Вѣтеръ пронзительно свисталъ и дулъ намъ прямо въ лицо, казенная одежда грѣла плохо... Въ особенности зябли ноги, обутыя въ гадкія, безъ подвертокъ, тяжелыя чуни... Люди шли молча, спотыкаясь, толкая и подгоняя другъ друга... Ни разговоровъ, ни смѣху не было слышно... Только изрѣдка раздавались ругательства, въ которыхъ слышались проклятія и злость на свою горькую долю...

Наконецъ, мы свернули съ шоссе влѣво и, пройдя немного темнымъ и узкимъ переулкомъ, остановились у воротъ... Сторожъ отперъ ихъ, и мы вошли въ какую-то пустынную и длинную аллею. Огромныя, высокія сосны глухо шумѣли вершинами... За деревьями вправо виднѣлись развалины не то какого-то строенія, не то забора,—трудно было разобрать въ темнотѣ... Дальше, на лѣво были небольшіе дома, а еще дальше, прямо въ глубинѣ, куда „гнали“ насъ, виднѣлась какая-то огромная масса строеній... Мы подошли къ этимъ строеніямъ, свернули влѣво, мимо огромной, высокой, фабричной трубы и, повернувъ вправо, за уголъ, мимо высокаго краснаго дома,

направились внизъ, подъ горку, къ какому-то мрачному, высокому и тоже красному дому. Достигнувъ его, мы взобрались по скользкимъ обледенѣлымъ ступенькамъ въ темныя сѣни, изъ которыхъ вошли, какъ оказалось, въ столовую рабочаго дома..

Столовая эта, уставленная поперекъ длинными, узкими столами и скамейками, состояла изъ двухъ большихъ съ низкими, темными потолками комнатъ. Въ прежнее время здѣсь, вѣроятно, была какая-нибудь фабричная мастерская. Голыя стѣны съ обвалившейся кое-гдѣ штукатуркой выглядели чрезвычайно мрачно... Точно такъ же были мрачны и высокія, съ одной только правой стороны, окна, съ большими стеклами, въ красныхъ переплетахъ рамъ... Холодомъ и сыростью несло отъ каменнаго, выстланнаго большими сѣрыми плитами пола. Вообще, вся эта столовая производила какое-то до крайности тягостное и тоскливое впечатлѣніе, точно тюрьма или затхлый могильный склепъ.

Надзиратель вмѣстѣ съ другимъ человѣкомъ, худощавымъ, съ злыми бѣгающими глазами, одѣтымъ въ коротенькое полупальто, сѣлъ къ столу, досталъ изъ сумки бумагу и началъ выкликать по фамиліямъ. Мы подходили... Одѣтый въ полупальто, человѣкъ окидывалъ глазами каждого изъ насъ съ ногъ до головы и записывалъ себѣ въ какую-то тетрадку наши костюмы.

— Штаны какіе?—спрашивалъ онъ.

— Черные!

— Полушубокъ?

— Нѣтъ... Пиджакъ.

— Сапоги?

— Чюни.

— Проходи... Слѣдующій!..

Когда все это окончилось, насъ, голодныхъ, озлобленныхъ, усталыхъ, „погнали“, наконецъ, на покой, въ спальню.

— Маршъ на спальню въ 15 №!—крикнулъ надзиратель, и мы всѣ, толкаясь и спѣша, хлынули изъ столовой.

— Слава тебѣ, Господи,—подумалъ я,—наконецъ-то, отдохъ!..

XV.

Я побѣжалъ вслѣдъ за другими, черезъ дворъ, мимо трубы, къ тому угловому огромному, красному дому, мимо котораго мы проходили ранѣе, идя въ столовую.

По узкой, вонючей и скользкой лѣстницѣ я, вслѣдъ за другими, взобрался на третій этажъ, вошелъ въ помѣщеніе спальни—и... остановился, пораженный картиной, которую увидалъ.

На меня пахнула цѣлая волна затхлыхъ, вонючихъ испареній и дыма, смѣшанныхъ съ шумомъ и крикомъ множества людскихъ голосовъ. Сквозь

густой и зловонный туманъ глаза мои съ трудомъ могли разглядѣть огромную длинную камеру, со сводчатымъ потолкомъ, поддерживаемымъ деревянными столбами, раздѣленную на три помѣщенія.

По обѣимъ сторонамъ этой камеры, оставляя проходъ посрединѣ, стояли сдвинутыя попарно вплотную койки. На койкахъ, подъ койками, на полу, въ проходѣ, вездѣ, гдѣ только было свободное мѣсто, валялись люди...

Многіе спали... Но нашъ приходъ, приходъ 147 человѣкъ, которые, какъ звѣри, ворвались въ спальню, разбудилъ всѣхъ. Крикъ, шумъ, ругань слились въ одинъ сплошной гулъ.

Надо было торопиться и искать, гдѣ бы приткнуться и лечь на ночь... Я прошелъ, шагая черезъ ноги валявшихся на полу людей, въ самое дальнее помѣщеніе спальни и нашелъ тамъ себѣ мѣстечко на полу, въ проходѣ около двухъ крайнихъ, сдвинутыхъ вплотную, коекъ... Одна изъ нихъ была порожняя, а на другой полулежалъ, облокотившись на руку, и курилъ, глядя на меня, какой-то красивый молодой человѣкъ, въ грязной рубахѣ съ разстегнутымъ воротомъ.

Я снялъ съ себя полушубокъ, положилъ его шерстью вверхъ на полъ, сѣлъ, снялъ чюни, положилъ ихъ въ головы подъ полушубокъ и хотѣлъ было ложиться, какъ вдругъ, человѣкъ, си-

дѣвпшій на койкѣ и не спускавшій съ меня глазъ, сказалъ, дотронувшись до моего плеча рукой:

— Послушайте-ка... Ложитесь вотъ на эту койку... Она порожняя.. На ней никто спать не будетъ, потому что слесарь, который на ней спалъ, попалъ сегодня въ больницу, и поэтому не придетъ, а я говорю всѣмъ желающимъ лечь на ней, что она занята.. Ну, а васъ мнѣ почему-то жалко... Вы точно мертвецъ... Ложитесь!..

Понятно, я съ радостью согласился и, поднявъ свой полушубокъ, сѣлъ на койку, глядя съ особеннымъ любопытствомъ на человѣка, такъ стати предложившаго мнѣ это мѣсто.

Онъ былъ высокъ и очень красивъ. Съ виду ему было лѣтъ 30. Наружность его рѣзко выделялась изъ окружающей среды. Лицо его было худощаво и нѣжно... Продолговатые черные глаза глядѣли задумчиво и строго... Въ нихъ мелькало какое-то особенное полупрезрительное выраженіе.

— Полушубокъ-то вы свой подъ кровать бросьте!—сказалъ онъ съ улыбкой на тонкихъ и блѣдныхъ губахъ. — Я по опыту знаю: насѣкомыя съѣдятъ васъ... Вотъ, поносите денька два - три, узнаете и сами... Бросайте его подъ койку къ чорту и ложитесь... Курить хотите?..

Я взялъ отъ этого неожиданнаго „благодѣтеля“ папироску и съ наслажденіемъ, понятнымъ тѣмъ, кто курить, нѣсколько разъ затянулся такъ, что

у меня пошла кругомъ голова и зарябило въ глазахъ.

— Ну, что новенькаго въ Москвѣ?—разсказывайте-ка!.. — сказалъ онъ и потянулся на койкѣ всѣмъ своимъ тонкимъ и длиннымъ тѣломъ. — Или вы, можетъ быть, спать хотите, а?.. Такъ я вамъ скажу, что наврядъ ли заснете... Во-первыхъ, потому, что шумъ смолкаетъ только подъ утро, а во-вторыхъ, не дадутъ клопы... Безъ привычки не заснешь... Ну, привыкнете, тогда дѣло десятое... Вы полицейскій?..

— Нѣтъ, доброволецъ.

— Гм! Охота вамъ была въ этотъ адъ идти. Умѣете что-нибудь дѣлать?.. Мастеровой?

— Нѣтъ.

— Это и видно... Что-жъ, чернорабочимъ записались? Гм!.. А прежде гдѣ жили?.. Служили гдѣ-нибудь на мѣстѣ, да?

Я удовлетворилъ его любопытство и, помолчавъ, сказалъ:

— Ъсть страшно хочется... Цѣлый день ничего не ѣлъ... Насъ нигдѣ не кормили.

— Такъ вы давно бы сказали! — воскликнулъ онъ.—Чудакъ вы... У меня хлѣбъ есть... Хотите? Цѣлая пайка... Я въ карты ее выигралъ... Вотъ!— Онъ досталъ изъ-подъ изголовья большой квадратный кусокъ чернаго хлѣба и подаль мнѣ. — Нате вамъ и кружку,—добавилъ онъ, доставая ее

оттуда же.—Сходите, вонъ тамъ, въ ушатахъ, вода
стоитъ, зачерпните и валяйте!

Я сходилъ по его указанію за водой и, возвра-
тясь назадъ, принялся было за ѣду, какъ вдругъ
ко мнѣ, Богъ его знаетъ откуда, точно изъ-подъ
земли выросъ, подскочилъ „дворянинъ“ и почти
закричалъ на меня:

— Куда вы скрылись?! Я нигдѣ васъ не найду...
Чортъ знаетъ, что такое!.. Я чуть не погибъ здѣсь...
Чортъ меня занесъ въ этотъ дьявольскій домъ.
Гдѣ вы достали хлѣба?.. Дайте мнѣ... Подѣлитесь...
Вотъ такъ ловко! Самъ жретъ, а про меня забылъ...
Кромѣ шутокъ, дайте, ради Христа, кусочекъ!..
Смерть моя!.. Издыхаю!.. Черти! Мучили, мучили
цѣлый день, хотѣли было безъ штановъ по Москвѣ
прогнать, ѣсть не даютъ... Тьфу, безобразіе!..

Я отломилъ и далъ ему кусокъ... Онъ съ жад-
ностью, точно голодная собака, набросился и на-
чалъ не ѣсть, а буквально пожирать хлѣбъ, чав-
кая губами и не разжевывая... Человѣкъ, усту-
пившій мнѣ койку, внимательно и, какъ мнѣ ка-
залось, съ какимъ-то отвращеніемъ и презрѣніемъ
глядѣлъ на него. Его тонкія, блѣдныя губы кри-
вились и нервно подергивались... Онъ, видимо,
что-то хотѣлъ сказать, но сдерживался и мол-
чалъ...

— А спать вы гдѣ ляжете? — спросилъ дворя-
нинъ, съѣвши данный мною кусокъ.

— Вотъ здѣсь, на койкѣ!—отвѣтилъ я.

— На койкѣ!—воскликнулъ онъ,—да неужели? Какъ же это вы нашли?.. Вотъ счастливецъ!.. Послушайте? Уступите ее мнѣ!..

— А я то гдѣ же?

— А вы на полу!.. Для васъ, я думаю, все равно?.. Вы, навѣрно, тамъ, у себя, въ деревнѣ привыкли валяться по полу, а?.. Уступите!..

Я ничего ему не отвѣтилъ... Мнѣ стало какъ-то неловко, какъ будто чего-то стыдно. Я чувствовалъ, что краснѣю и не могу посмотреѣть на него...

— А вы кто такой будете?—вдругъ съ какой-то дрожью въ голосѣ спросилъ у него сосѣдъ, уступившій мнѣ койку.

— Я... То есть, какъ это, кто буду?.. Человѣкъ, какъ видите?

— Вижу, что человѣкъ... Я не о томъ васъ спрашиваю... Званіе ваше?

— Дворянинъ... А что?

— Дворянинъ... А, дворянинъ!.. Баринъ... Бѣлая кость!.. Понимаю!.. Такъ почему-жъ ты предлагаешь ему на полу лечь, а самъ хочешь на койку, а?.. Койка моя... Я далъ ему ее!—продолжалъ онъ, возвышая голосъ. — А ты уйди!.. Тебѣ здѣсь не мѣсто... Мы не дворяне... Зачѣмъ ты къ намъ, мужикамъ, лѣзешь? Тебѣ дали, какъ собакѣ, кусокъ хлѣба, сожралъ — ступай къ чорту! Къ своимъ дворянамъ! Уходи, а не то!..

Онъ не договорилъ и приподнялся на койкѣ. Лицо его побѣлѣло... Губы тряслись... Черные глаза сверкали и бѣгали...

Мой „дворянинъ“ посмотрѣлъ на него, какъ-то сжался весь, хотѣлъ было что-то сказать, вѣроятно выругаться, но ничего не сказалъ, вскочилъ съ койки, гдѣ сидѣлъ, рядомъ со мной, согнулся и, какъ-то держа голову на бокъ, отошелъ прочь и скрылся въ другомъ помѣщеніи спальни.

XV.

— Вѣдь вотъ,—заговорилъ мой новый „благодѣтель“, проводивъ его злыми глазами, — дрянная какая-то, а говору сколько. Навѣрно, вѣдь съ Хивы пришелъ... Дѣлать ничего не можетъ... Гдѣ ему... На Хивѣ, небось, занимался разсылкой писемъ къ знакомымъ... Дѣло легкое...

Онъ легъ навзничъ, подложивъ руки подъ голову, и замолчалъ, глядя въ потолокъ.

— Ложитесь, — сказалъ онъ, помолчавъ. — Чего-жъ вы не ложитесь? Особыхъ приглашеній не будетъ...

Я поднялъ какую-то сѣрую большую тряпицу, изображавшую одѣяло, и легъ на грязный, вонючій, сбитый и скомканный тюфякъ, рядомъ съ нимъ.

— Вы женаты?—спросилъ онъ, повернувшись

на бокъ и глядя на меня въ упоръ своими красивыми черными глазами.

— Да.

— Небось, и дѣти есть?

— Есть.

— Гдѣ-жъ жена, не секретъ?

— Дома, въ деревнѣ.

— Какъ же вы сюда попали... Извините... Пропились?..

— Да.

Онъ помолчалъ немного и сказалъ:

— Хорошо теперь въ деревнѣ...—И, опять помолчавъ, съ какой-то затаенной грустью продолжалъ: — Я вѣдь тоже женатъ... И у меня тоже дѣти... Теперь, навѣрно, двое... Когда я отправился въ Москву, одинъ еще былъ только сынишка, Петька, ну, а теперь, навѣрно, еще родился кто-нибудь... Навѣрно!..

— А вы давно въ Москвѣ?—спросилъ я.

— Я... Нѣтъ... Какой чортъ, давно!.. Всего только третій мѣсяцъ... Второй мѣсяцъ пошелъ, какъ я здѣсь вотъ, въ работномъ домѣ... Я вѣдь полицейскій... т. е. попалъ сюда черезъ полицію... За нищенство забрали, хотя я, собственно говоря, и не просилъ никогда... Мнѣ еще здѣсь около мѣсяца придется отсиживать...

— Какъ же вы попали?

— Какъ попалъ?.. „По пьяному дѣлу“, конеч-

но... Перепился точно такъ же, какъ и вы, да и, какъ всѣ, здѣсь...

— Вы въ Москву мѣста искать пріѣхали?..

— Какъ вамъ сказать,—отвѣтилъ онъ.—И самъ не знаю! Мнѣ, собственно, не слѣдовало изъ дому уходить... Характеръ у меня чертовскій, вотъ что! Мнѣ все какъ-то скоро надоѣдаетъ... Жена у меня, напимѣръ, красивая, добрая, славная, и люблю я ее такъ, что и сказать не могу... Третій годъ всего какъ и женатъ на ней, а вѣдь вотъ, откровенно вамъ скажу, я и ушелъ изъ дому больше отъ нея... На зло ей захотѣлъ сдѣлать... Какъ она плакала, какъ умаливала меня не уходить... Нѣтъ, не послушалъ, ушелъ... Бросилъ ее, да еще какъ бросилъ-то... Ей, можетъ быть, всего только недѣлю до родовъ осталось!.. Какъ она теперь тамъ, несчастная, Богъ знаетъ! Главное то подло, что она не знаетъ, гдѣ я... Изныло у меня все сердце!.. А написать не хочу... Не хочу, да и все... Выберусь отсюда, уѣду... У меня кое-что заработано... Только одного боюсь,—продолжалъ онъ и провелъ рукой по лицу, — водки!.. Боюсь, какъ получу деньги — выпью... Ну, тогда не знаю, что... Тогда я погибъ!..

— А вы не пейте!

— Не пейте!.. Легко сказать — не пейте!.. Не знаю тамъ, какъ вы пьете, а я вотъ какъ пью, слушайте, я вамъ расскажу... Когда я уходилъ

изъ дому, жена на колѣняхъ передо мной стояла— умоляла не пить, плакала... Руки мои цѣловала... Надоѣло мнѣ все!.. Послѣдніе два рубля взялъ у жены... Увѣрилъ ее, что, какъ пріѣду въ Москву, сейчасъ же поступлю на мѣсто и пришлю денегъ... Мать старушка тоже просила не уходить... „На кого ты насъ бросишь, несчастныхъ?.. Жена беременна... Послѣдніе дни ходить... Чего тебѣ не достаетъ?.. Какое тебѣ тамъ мѣсто? Кто приготовилъ?“ Ну, и все въ такомъ же родѣ, понимаете... Мать у меня старая, лѣтъ 70-ти, бывшая крѣпостная... Я мѣщанинъ, приписной къ городу Звенигороду... Недалеко отъ Москвы, верстъ 50... Домикъ у насъ свой... Землю у господъ арендуемъ... Огородъ... Покося... Корова есть, лошадь, куры, ну, словомъ, все, кромѣ денегъ, и жить вообще можно...—Что я,—говорю матери,—буду здѣсь зиму-то безъ дѣла съ вами на печкѣ сидѣть... Я на мѣсто поступлю, а весной приду опять, когда надо.. „Никакого тебѣ мѣста не надо,—говорить она,—а погулять ты захотѣлъ... Попьянствовать... Ну, какъ знаешь, иди... Богъ съ тобой!“ Собрался я съ вечера... приготовилъ одежду... пиджакъ, брюки, жилетъ, самые хорошіе. На женины деньги, что взялъ въ приданое, и купилъ-то ихъ... бѣлье, рубашки вышитыя, платочки носовые, полотенчики.. ха, ха, ха!.. Ну, словомъ, все! Сапоги отличные. опойковые, съ резиновыми калошами... тоже на

женины деньги куплены были... шубу и шапку барашковые. Ну, однимъ словомъ, баринъ, такъ сказать, франтъ! Всю ночь я эту послѣднюю не спалъ... и жена тоже. Боже мой, какъ она просила меня не уходить!.. „Милый, хорошій, не уходи, не бросай меня... умру я... Забудешь ты меня въ Москвѣ... Не уходи, не уходи!..“ Ахъ, да что говорить!.. Не расскажешь этого...

Онъ замолчалъ, сдѣлалъ папироску и легъ навзничъ.

— Чортъ знаетъ, что такое!—воскликнулъ онъ вдругъ, какъ-то сразу перевернувшись на бокъ ко мнѣ лицомъ и со злостью кинулъ на полъ скомканную папироску.—Какъ объяснить это? Вѣдь я же отлично зналъ тогда, что дѣлаю подлость, что дѣлаю возмутительное дѣло, что убиваю ее... Мнѣ хотѣлось плакать, глядя на ея мученья и слезы, и вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ были пріятны эти ея слезы... Тѣшили онѣ меня... тѣшили мое чертовское самолюбіе... Плачешь... страдаешь... жалко... любишь... мучаешься... и мнѣ тяжело, а все-таки я уйду... мучайся тутъ... страдай... плачь!.. Ахъ!—съ отчаяніемъ воскликнулъ онъ,—не могу я объяснить этого чувства... рассказать не могу... изныло сердце! Подлость, подлость и вмѣстѣ нѣтъ подлости, а есть любовь, одна только любовь!.. Вѣдь люблю же я ее... Господи! да, кажется, вотъ такъ сейчасъ бы и упалъ ей на грудь... заплакалъ бы... Все-то бы,

все поняла она сердцемъ своимъ добрымъ, душою ангельской!.. И простила бы!..

Онъ перевернулся внизъ лицомъ и, какъ мнѣ показалось, началъ кусать подушку зубами.

— А что если она,—воскликнулъ онъ, привскочивъ на койкѣ и схвативъ меня за руку,—померла!.. Померла отъ родовъ?.. а?—И онъ съ выраженіемъ ужаса глядѣлъ на меня, ожидая отвѣта.—Тогда,—продолжалъ онъ, и глаза его дико сверкнули,—я разобью себѣ голову объ стѣну или сожгу себя на огнѣ, какъ полѣно дровъ!.. О, Господи!—продолжалъ онъ, немного успокоившись и выпустивъ мою руку изъ своей.—Я не знаю, что говорю и дѣлаю... Во мнѣ все горитъ и кипитъ... То мнѣ жалко всѣхъ... То я готовъ зарѣзать свою мать, своего собственнаго ребенка!.. И всегда такъ, съ самаго, понимаете, моего дѣтства, все у меня шло въ разрѣзъ. Я всегда былъ не такой, какъ другіе... Въ глубинѣ души я чувствовалъ себя способнѣе и умнѣе всѣхъ своихъ товарищей... Учился я отлично. Покойный отецъ не жалѣлъ денегъ на это. Деньги были... Онъ занималъ мѣсто управляющаго въ богатомъ имѣніи. Хотя онъ былъ простой человѣкъ, малограмотный, но страшно гордый и ученье ставилъ выше всего. Да не судилъ ему Богъ вывести меня—померъ. Такъ я и не окончилъ нигдѣ... Средствъ не стало. А господишки, которымъ мой отецъ служилъ всю жизнь, переноса

ихъ дикій произволъ, не захотѣли платить за меня...
Такъ я и сѣлъ на мель!.. Ну, выросъ я, окрѣпъ...
Сняла старуха-мать земли въ аренду... женила
меня... живи!.. Пить я сталъ сначала тайкомъ, еще
до женитьбы, а потомъ въявь... пристрастился къ
водкѣ... Да, тяжело это, а всетаки люблю. Голова
кружится и горитъ, какъ въ огнѣ, сердце бьется,
готово выскочить, рой мыслей, одна другой смѣлѣе,
кружатся въ головѣ!.. О, въ это время все мнѣ
ясно... Все я могу передѣлать, перемѣнить... Стоить
только мнѣ захотѣть, и я открою людямъ глаза,
и все измѣнится къ лучшему... Измѣнятся мысли,
отношенія, обычаи, земля превратится въ рай зем-
ной, а люди въ братьевъ... Я говорю тогда и вѣрю
въ могущество своего слова, вѣрю, что мною
найденъ ключъ къ счастью, ко всеобщему благу...
Я забираюсь въ такія минуты въ какую-нибудь
трущобу, къ пьянымъ людямъ, гдѣ сидятъ обтре-
панныя, растерзанныя дѣвки, пьютъ водку и ру-
гаются, какъ извозчики. Я кричу, что насталь
день великаго торжества и счастья, что придетъ
то время, когда, по словамъ поэта,

«... не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды,
Ни безкrestныхъ могилъ, ни рабовъ,
Ни нужды, безпросвѣтной, мертвящей нужды,
Ни цѣпей, ни позорныхъ столбовъ!..»

Мнѣ кажется тогда, что я великій человѣкъ...
ораторъ, витія!.. Что передо мной масса слушате-

лей. Что кругомъ меня все такъ красиво, свѣтло, радостно, просторно... Я упиваюсь своими словами... слушаю ихъ, и мнѣ кажется, что во мнѣ все ликуетъ, поетъ, пляшетъ!.. Но когда изъ моей головы выдохнется водка,—продолжалъ онъ, понизивъ голосъ,—тогда я падаю съ неба на землю, прямо въ грязь! Тогда я не могу совладать съ собой... Все мнѣ гадко... Тоска, тоска гложетъ сердце! Я убѣгаю отъ постылыхъ людей, забиваюсь въ какую-нибудь дыру и горько, самъ не понимая, не зная о чемъ, плачу...

Онъ плакалъ и теперь... Слезы катились крупными каплями изъ его черныхъ, какъ черная смо-родина, глазъ по разгорѣвшимся щекамъ. Я, за-таивъ дыханіе, слушалъ и смотрѣлъ на него. Мнѣ было грустно. Я чувствовалъ, что дрожу, но не отъ холода,—въ спальнѣ было страшно жарко,—а отъ чего-то другого.

— А годы, между тѣмъ, идутъ,—продолжалъ онъ,—все лучшіе годы... Тратится жаръ души въ пустынь... Собственно говоря, лично я ничего не желаю... Богатые и бѣдные, сытые и голодные, умные и глупые всегда страдаютъ и будутъ стра-дать... Не въ этомъ дѣло... А вотъ—гдѣ справедли-вость? Гдѣ правда?..

Онъ замолчалъ, сѣлъ на койку, обхвативъ ко-лѣни руками, широко раскрылъ глаза и проница-тельно взглянулъ на меня.

— На чемъ я остановился-то? Да, Ну... такъ вотъ, всю ночь мы съ женой не спали... Она плакала, а я увѣрялъ ее, что все будетъ хорошо. Утромъ поднялся чѣмъ свѣтъ, переодѣлся, забралъ бѣлье, шубу надѣлъ... ухожу!..

Жена пошла проводить... Зашли мы съ ней въ лѣсъ... Съ версту отъ дома... Погода была гадкая, снѣжная... Устала она, запыхалась... Въ такомъ-то положеніи, понимаете... „Не ходи дальше, говорю ей, — устала... Простимся здѣсь, и иди обратно“... Заплакала она... Бросилась ко мнѣ на шею... „Не забудь тамъ меня, — шепчетъ, — не забудь, голубчикъ мой... Не уходи... Вернись... Помру я безъ тебя тутъ... Немного ужъ мнѣ осталось“... Высвободился я изъ ея объятій и пошелъ прочь... Прощель шаговъ сто, до поворотка... Оглянулся, вижу: стоитъ она, руки заломила, плачетъ... Остановился и я... Слышу, шепчетъ мнѣ въ одно ухо совѣсть: „останься, что ты дѣлаешь? А въ другое: иди, иди, иди!.. Пусть ее плачетъ... Это ничего... Значить, любить... Будь мужчиной... Покажи свою твердость... Иди... Она тебя за это еще больше любить будетъ“...

Нахлобучилъ я шапку, поднялъ воротникъ у шубы, махнулъ рукой и скрылся изъ ея глазъ за повороткомъ... Ну, и пошло... Дошелъ до села, прямо въ кабакъ... Напился... Нанялъ подводу въ городъ... Приѣхалъ, опять прямо въ трактиръ, —

„Низокъ“ называется, гдѣ обыкновенно „золотая рота“ обитаетъ... Заказалъ четверть водки, собралъ этихъ молодцовъ, напился съ ними, рассказалъ имъ, какъ съ женой разставался, плакалъ, проповѣдывалъ имъ что-то, пѣсни они мнѣ пѣли, Христомъ меня называли... Шубу, помню, я здѣсь же продалъ и, какъ потомъ очутился въ Москвѣ, ужъ и не знаю... Знаю только то, что очнулся на Хитровкѣ и что у меня нѣтъ ничего... Ни денегъ, ни бѣлья этого, вышитаго-то, ни платочковъ носовыхъ, ни полотенчиковъ — ничего! Чистъ и голъ, какъ турецкій святой!.. Что дѣлать? Куда идти?.. Началось мученье... Не въ холодѣ и голодѣ дѣло... Это наплевать, а вотъ душевная-то мука, которая терзаетъ душу, жалитъ, какъ огнемъ, сердце, растрavляетъ, какъ мучительную рану, совѣсть и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлаетъ свое великое дѣло, обновляетъ и очищаетъ человѣка! Не знаю, какъ вамъ объяснить, но только для меня въ этомъ есть своего рода невыразимая прелесть... Можетъ быть, этого-то очищенія мнѣ и хотѣлось...

Онъ замолчалъ, думая что-то, и потомъ продолжалъ:

— Остался я на Хитровкѣ жить... Ночевалъ у Ляпина... Питался кое-какъ... Все собирался домой идти, да не успѣлъ... Забрали меня, и вотъ сюда попалъ... Теперь скоро, впрочемъ, выйду... Ну, тогда прямо домой... Хоть замерзать на дорогѣ,

наплевать, а только домой, домой!.. Жена такъ и стоитъ передо мной въ той позѣ, какъ я ее въ лѣсу бросилъ... Жива ли она?.. Господи! Ну какъ нѣтъ!.. Что тогда? Кто виновать? Я... Что мнѣ за это?.. Какую казнь? Боже мой, Боже мой!..

Онъ отвернулся отъ меня, закрылся одѣяломъ и замолчалъ.

— Завтра вы не ходите утромъ въ столовую чай пить... все равно толку не добьетесь,—сказалъ онъ изъ подъ одѣяла,—здѣсь напьетесь со мной... У меня чайникъ есть и все... Спите! Прощайте!..

XVI.

Я не спалъ всю ночь... Масса впечатлѣній, вынесенныхъ въ продолженіе этого безалабернаго дня, до того расшатала нервы, что было не до сна. Забылся и заснулъ я только подъ утро. Но и этотъ сонъ былъ прерванъ оглушительнымъ звукомъ трещотки. Я вскочилъ, не понимая, гдѣ нахожусь и что такое за трескъ раздается около меня. Опомнившись и придя въ себя, я увидалъ сторожа, который ходилъ по всѣмъ тремъ отдѣленіямъ спальни и оглушительно трещалъ на своемъ инструментѣ... Кажется, мертвый и тотъ бы возсталъ отъ этихъ звуковъ... Кромѣ того, онъ оралъ во всю глотку отвратительныя ругательства, заставляя скорѣе вставать и убираться изъ спальни въ столовую...

Мой сосѣдъ не вставалъ... Онъ лежалъ, закрывшись одѣяломъ съ головой, и не подавалъ, такъ сказать, признаковъ жизни. Посидѣвъ на койкѣ и видя, что всѣ одѣваются и уходятъ, пошелъ и я...

На дворѣ было вѣтрено, морозно и совсѣмъ темно... Скорчившіяся фигуры людей, подобно привидѣніямъ, по одиночкѣ и цѣлыми партіями, бѣжали внизъ подъ горку, мимо трубы, въ столовую...

Столовая, биткомъ набитая народомъ, изображала изъ себя настоящій адъ... Въ тускломъ полусвѣтѣ лампъ, окруженныхъ какимъ-то смрадомъ, оборванцы съ фантастически-страшными лицами лѣзали къ столамъ, добиваясь какой-то болтушки вмѣсто чая... Ругань, крикъ, шумъ были страшные!.. Дѣло доходило чуть не до драки...

Служащіе изъ такихъ же, какъ здѣсь выражались, „призрѣваемыхъ“, т. е. такіе же золоторотцы, какъ и мы всѣ, одѣтые въ синія рубашки и подобранные, видно нарочно, молодецъ къ молодцу, но съ какими-то прямо-таки разбойничьими лицами, разносили чайники, ругаясь отборными ругательствами и безцеремонно тыча „въ морды“ тѣмъ, которые подвертывались имъ подъ руку.

Какой-то молодой, тщедушный, страшно блѣдный, испитой, лѣтъ 17-ти парнишка подошелъ къ двери „кубовой“, гдѣ заваривали изъ огромнаго

клокотавшаго куба чай, и, жалобно держа въ тонкихъ, какъ спички, рукахъ кружку, попросилъ кипяточку.

— Дайте кипяточку кружечку,—сказалъ онъ,—сахару-то у меня есть кусочекъ... Я-бъ выпилъ замѣсть чаю... Погрѣлся бы...

— Кипяточку тебѣ?—переспросилъ малый, одѣтый въ синюю рубашку, —сейчасъ... Съ нашимъ удовольствіемъ... На, получай!..

Онъ схватилъ стоявшую въ углу на кучѣ сора и всякихъ нечистотъ метлу и ударилъ ею мальчишку по лицу... Парнишка отскочилъ... На его лицѣ показалась кровь. Онъ горько заплакалъ, вытирая глаза рукавомъ казеннаго пиджака...

— Черти!—между тѣмъ оралъ прислужникъ,—лѣзетъ всякая дрянь!.. Кипяточку... Вотъ тебѣ кипяточекъ... Мало?—еще дамъ...

Видя все это и какъ-то „обалдѣвъ“ отъ непривычнаго шума, ругани, крика и смрада, я хотѣлъ было уйти обратно въ спальню № 15... Но туда меня уже не пустили.. Здѣсь, какъ оказалось, былъ заведенъ порядокъ, чтобы весь этотъ несчастный чернорабочій людъ, за неимѣніемъ пока дѣла, пребывалъ въ столовой, не имѣя права съ пяти часовъ утра до шести вечера отлучаться изъ нея куда бы то ни было... Этотъ порядокъ былъ крайне тягостенъ... Представьте себѣ множество народа, загнаннаго въ тѣсное помѣщеніе, съ утра и до

ночи обязаннаго находиться въ шумѣ, толкотнѣ, духотѣ, грязи, и вы поймете, какъ это тяготитъ и озлобляетъ полуголодныхъ и безъ того ошалѣвшихъ, несчастныхъ людей..

Чернорабочіе—не то, что слесаря, столяры и вообще мастеровой людъ... Этимъ, такъ или иначе, всегда есть дѣло; чернорабочимъ же надо ждать, пока потребуется партія куда-нибудь на желѣзную дорогу, на свалку или еще куда.. За неимѣніемъ же работы — приходится сидѣть у моря и ждать погоды ..

Въ столовой скопляется въ такое время по нѣскольку сотъ человѣкъ... Люди, какъ тѣни, съ унылыми лицами ходятъ, толкуются, курятъ, ругаются и ждутъ съ нетерпѣніемъ съ утра—обѣда, а съ обѣда—ужина...

Дѣлать было нечего.. Пришлось возвратиться снова въ столовую... Чай отпили... Народу скопилось такое множество, что не было свободнаго мѣстечка сѣсть... Тѣ-же, кому удалось приткнуться гдѣ нибудь, покидали свои мѣста только въ крайнихъ случаяхъ... Столовая гудѣла человѣческими голосами, точно лѣсъ въ бурю или громадный котелъ, который гудитъ и бурлитъ, закипая...

Какая-то гадкая смѣсь изъ дыма, копоти, сырости, людского пота и испареній стояла въ воздухѣ... Лица, худыя и полныя, блѣдныя и красныя, старыя и молодыя, мелькали передъ глазами,

какъ мелькають деревья, столбы, поля, деревнюшки, когда смотришь изъ окна вагона во время быстрого хода поѣзда...

Сосредоточиться, остановить вниманіе на какомъ-нибудь одномъ лицѣ не было никакой возможности...

Разговоры окружающихъ меня людей, когда я нѣсколько свыкъся съ шумомъ и сталъ прислушиваться къ нимъ, велись по большей части на одну тему... Тема эта:—какъ пропился, какъ заработаю, куплю пиджакъ, брюки, найду мѣсто... Или же: какъ и гдѣ забрала полиція, какъ „стрѣлялъ“, какъ жилъ на Хивѣ, какъ воровалъ...

Одинъ сѣденькій, маленькаго роста старичокъ, на головѣ у котораго была надѣта порыжѣвшая съ широкими полями шляпа, привлекъ мое вниманіе своимъ чрезвычайно симпатичнымъ лицомъ... Я подошелъ къ нему, и мы мало-по-малу разговорились... Онъ сидѣлъ въ уголкѣ, на выступѣ окна, у самой двери и добродушно поглядывалъ съ улыбкой на толпу сновавшихъ мимо людей, покуривая коротенькую трубочку-носогрѣйку.

Изъ его словъ оказалось, что онъ попалъ черезъ полицію за прошеніе милостыни и сидитъ здѣсь третій мѣсяцъ, а когда выпустятъ—не знаетъ...

— Плохо здѣсь,—жаловался онъ мнѣ:—порядку нѣтъ, работы нѣтъ... вша поѣдомъ ѣсть... въ тюрьмѣ много лучше...

— А ты былъ?

— Эвось! ты спроси: гдѣ я не былъ?..

— Чѣмъ же тамъ лучше?

— Въ тюрьмѣ-то?.. Въ тюрьмѣ, я тебѣ прямо, какъ передъ Истиннымъ, скажу, для нашего брата, что въ раю пресвѣтломъ...

— Да, ну!—воскликнулъ я, удивленный этимъ сравненіемъ...

— Вотъ те и ну... Не нукай, не запрөгъ... Вѣрно тебѣ сказываю... Ты слушай: перво - на - перво чистота... спокойствіе, порядокъ... Умирать не надо!.. А главная причина—харчъ: ѣшь, пока брюхо не разопретъ...

— Плохо же тебѣ, должно быть, жилось на свѣтѣ, — сказалъ я, глядя на его морщинистое, удивительно симпатичное лицо, — коли ты лучше тюрьмы ничего не находишь...

— Всего бывало, — отвѣтилъ онъ, улыбаясь, — жилъ и жизнь изжилъ... Теперича мнѣ три тесницы да поверхъ крышку, болѣ ничего и не надо!.. Такъ-то, землячокъ!.. На-ка-сь, курни... Чай, табачишку-то нѣту?...

Въ окнахъ начало свѣтлѣть... Пришелъ ламповщикъ съ двумя привязанными къ боку на веревкѣ „ершами“ и задулъ лампы... Въ столовой сдѣлался полумракъ... Гулъ голосовъ какъ будто нѣсколько стихъ... Люди, сидѣвшіе на скамейкахъ за столами, спали, положи на нихъ головы... Не

имѣвшіе мѣсть,—а такихъ было большинство,—топтались въ этой полутьмѣ, какъ напуганное стадо овецъ...

Стало совсѣмъ свѣтло... День начинался ведренный, морозный. Солнечный ослѣпительно яркій свѣтъ проникъ всюду, и при этомъ освѣщеніи картина получилась еще печальнѣе... Вся нагота, грязь, рвань выплыли на свѣтъ, въ настоящемъ своемъ видѣ, застланныя только дымомъ махорки...

Я нигдѣ не видывалъ, чтобы такъ много и жадно курили, какъ здѣсь... Къ обмусленному, жгущему уже губы, брошенному на полъ окурку бросалось нѣсколько человѣкъ разомъ, стараясь завладѣть имъ и хоть какъ-нибудь, рискуя обжечь губы, затануться, или, какъ здѣсь говорили, „хватить“ разочекъ...

Особенно запомнился мнѣ одинъ чахоточный: желтый, высокій и худой, какъ скелетъ. Обернувшись лицомъ въ уголъ, онъ жадно глоталъ, втягивая щеки, табачный дымъ... Глотнетъ разъ-другой, боязливо обернется, посмотритъ кругомъ, какъ затравленный волкъ, идиотскими мутными глазами и опять, обернувшись въ уголъ, жадно и часто начинаетъ глотать!.. Что-то до того отталкивающее, страшное и вмѣстѣ жалкое было въ фигурѣ этого согнувшагося, чахоточнаго человѣка, что я до сей поры не могу забыть его... Фигура эта такъ и

стоит у меня передъ глазами, какъ живая, во всей своей отталкивающей ужасной наготѣ!..

Время шло безконечно медленно... Отъ непрестаннаго гула и шума кружилась голова... Тѣло чесалось и горѣло, какъ въ огнѣ... Изъ шерсти полушубка на чистую холщевую рубаху выползли насѣкомыя въ такомъ множествѣ, что я струсилъ, зная, что избавиться отъ нихъ нѣтъ никакой возможности...

— Что, землячокъ, это, видать, не у жонки на печкѣ,—сказалъ, улыбаясь, какой-то мужикъ, чернородый, какъ жукъ.—Такъ намъ и надо!.. За дѣло!.. Часъ мы себя тѣшимъ, а годъ чешемъ... Такъ-то!.. Да, братъ, ихъ въ этой самой шерсти-то можетъ сила... лопатой гребь!.. Самъ посуди, какъ не быть то: я поношу—оставлю, ты поносишь—оставишь, такъ оно колесо и идетъ... Кабы ихъ, полушубки-то, прожаривать, ну тогда дѣло десятое... а то ему износу нѣтъ!.. Разорвалъ ты примѣрно... Клокъ выдралъ... Сичасъ на этотъ самый клокъ заплату приляпаютъ... Готово дѣло!.. Такъ заплату на заплату и сажаютъ... Въ Москвѣ вонъ, когда на работу идешь, все новое даютъ: полушубокъ, валенки, рукавицы... Неловко тамъ-то: господа ходятъ, начальство... Ну, а здѣсь нашего брата замѣстъ собакъ почитаютъ.

— Ох-хо-хо,—продолжалъ онъ печально,—горе наше насъ сюда гонить, а главная причина—сла-

бость къ винному дѣлу... Я вотъ кузнецъ... На волѣ-то какіе деньги заколачивалъ, а тутъ вотъ пятые сутки безъ дѣловъ и уйти нельзя: до гашника пропился... Бить насъ надо, кнутомъ жучить, чтобы помнили... Да!..

Онъ вдругъ остановился, послушалъ и сказалъ:

— Никакъ запѣли? Такъ и есть! Вечоръ тутъ двое какихъ-то стрюцкихъ, должно изъ лягавыхъ, важно пѣли... Надо полагать, это опять они?.. Пойдемъ, послушаемъ.

Народъ, какъ волна, хлынулъ въ другое отдѣленіе столовой, откуда доносилось пѣніе. Мы тоже прошли туда, въ самый дальній уголъ, около стѣны. Народъ сплошной массой окружалъ это мѣсто... Черезъ головы толпы я увидалъ сидѣвшихъ на скамейкѣ двухъ какихъ-то субъектовъ...

Одинъ былъ пожилой, худощавый, съ длинными волосами, съ горбатымъ носомъ. Другой—совсѣмъ еще молодой, почти мальчикъ, бѣлокурый и румяный, съ круглыми на выкатѣ глазами.

Пропѣвъ что-то не громко, какъ будто налаживаясь, они замолчали, посмотрѣли на толпу, перешепнулись о чемъ-то и вдругъ, какъ-то сразу, старшій махнулъ рукой и запѣлъ могучимъ и чистымъ басомъ. Къ нему сейчасъ же присталъ молодой съ своимъ теноромъ и полились чистые, тоскливые, такъ и рѣзавшія по сердцу слова неизвѣстно кѣмъ сочиненной пѣсни:

„Ахъ ты, доля, ахъ ты, доля,
Доля бѣдняка.
Тяжела ты безотраднa,
Тяжела—горька“!..

Казалось, что эти рыдающіе звуки шли не изъ темнаго угла столовой, а падали откуда-то сверху отчаяннымъ дождемъ слезъ. Какъ будто невѣдомая болѣзненно-жуткая скорбь перенесла въ эту столовую всю тоску и горе забитаго, обездоленнаго люда...

„Не твою-ли, бѣднякъ, хату
Вѣтеръ пошатнулъ?
Съ крыши ветхую солому
Поразнесъ, раздулъ“...

Все слушали, затаивъ дыханіе, не шевелясь... Пѣсня лилась широкою волною... Этотъ жалобный вопль, мольба, стонъ и плачъ какъ будто расширили столовую своимъ безбрежнымъ отчаяніемъ. Жутко было слушать... Жутко и сладко... Люди стояли молча, вперивъ глаза въ пѣвцовъ, и не одна, думаю, грудь колебалась отъ мучительныхъ рыданій и не одно сердце ныло, плакало и горѣло огнемъ мучительныхъ воспоминаній о лучшей, давно прошедшей, закиданной грязью, залитой сивухой, жизни...

Я слушалъ, глотая слезы, и передо мной быстро и ярко проносились картины за картиной... Точно какое-то огромное окно вдругъ открылось передъ

глазами, и я глядѣлъ въ это окно, вновь переживая то, что было такъ давно и что прошло, прошло навсегда!..

Мнѣ видѣлась рѣчка... Берега ея густо заросли олешнякомъ, черемухой, дикой черной смородиной и высокой, какъ тростникъ, осиною... День ясный, веселый, солнечный... На хрустально-прозрачной водѣ, тамъ и сямъ, дрожать, какъ живые, отъ быстрого теченія широкіе листья водяного лопуха... Кое гдѣ на этихъ листахъ сидятъ стрекозы и трещать по временамъ своими прозрачно-хрустальными, какъ слюда, крылышками... Крупные темно-сѣрые водяные комары, разставя ноги, какъ на лыжахъ, быстро, не оставляя никакого слѣда, скользятъ по водѣ, какъ по зеркалу... Стайки мелкихъ, серебристыхъ верхоплавковъ гуляютъ на неглубокихъ мѣстахъ, то выскакивая на поверхность, то, быстро сверкнувъ, рассыпаются, какъ стальные иголки, въ разныя стороны, убѣгая отъ волка-щуки... Задумчиво-важные головы, похожіе на старыхъ генераловъ въ отставку, тихо гуляютъ поверху, надъ глубокими омутами.

Осторожная утка, окруженная семьей желтенькихъ быстро снующихъ вокругъ нея утятъ, выплываетъ изъ осоки на чистое мѣсто, тихонько крикая, словно говоря имъ: „тише, тише, дѣтки“... Зеленая лягушка, забравшись на верхушку высушшагося изъ воды, обросшаго мохомъ камня,

изрѣдка квакаетъ, какъ-то особенно смѣшно таранца глаза и раздувая на щекахъ бѣлые, точно мыльные пузыри, кружочки... Надъ водой кружатся ласточки и съ пронзительнымъ свистомъ, какъ пули, обгоняя другъ друга, проносятся стрижи...

Я сижу на берегу, подъ кустомъ и гляжу на поплавокъ... Мнѣ жарко... Клонить ко сну... Рыба не клюетъ... Я быстро стаскиваю съ себя рубашенку, штанишки и бросаюсь, перекрестясь, въ студеную, прозрачную, какъ хрусталь, воду!.. Какимъ дождемъ посыпались брызги!.. Какъ хорошо!.. Какъ весело!.. Какъ радостно бьется мое дѣтское сердчишко!..

Боже мой! Гдѣ это все?.. Я-ли это былъ тогда?.. Гдѣ тотъ я?.. Куда онъ дѣлся?.. Что осталось отъ него? Кто виновать?.. О, какъ тяжело...

И снова мелькаетъ картина:

За рѣчкой лѣсъ... Молодые, стройныя красавицы-березки растутъ въ перемежку съ орѣшникомъ, рябиной, кленомъ, съ кустами жимолости, волчьихъ ягодъ, черемухи... По низу, въ сочной и мягкой травѣ краснѣетъ земляника, цвѣтутъ фіалки, ландыши... Нѣжно-голубыя незабудочки да „Иванъ съ Марьей“, точно коверъ, покрываютъ небольшія полянки... Въ тѣни кустовъ папоротникъ раскинулъ по сторонамъ свои листья. Медуница, дикая ромашка, фіалки, ландыши насыщаютъ воздухъ ароматами... Цѣкіе листья хмѣля

ползуть по кустамъ, драпируя ихъ роскошной зеленью... Отъ цвѣтущаго хмѣля идетъ сильный пьяный духъ...

А сколько здѣсь жизни и движенія!..

Въ кустахъ чирикаютъ и поютъ на разные голоса чижи, пѣночки, малиновки, корольки. Маленькіе зяблики перескакиваютъ торопливо съ вѣтки на вѣтку... Какіе-то крохотные, кругленькіе, какъ шарики, съ бѣлыми зобочками—птички, порхаютъ небольшими стайками съ дерева на дерево, тихонько чирикаютъ, нѣжно и мелодично... Черный дроздъ, усѣвшись на самой вершинкѣ стройной и тонкой сосенки, старательно выводитъ свои трели и вдругъ, испугавшись чего-то, стремительно, точно камушекъ, падаетъ внизъ и пропадаетъ въ травѣ... Пронзительно и какъ-то неожиданно-громко, на весь лѣсъ, крикнетъ иволга... Кукушка, распутивъ хвостъ вѣеромъ и кивая головкой, выкрикиваетъ свое однообразное ку!-ку!.. Въ глуши меланхолично цѣлыми днями, точно молодые вдовы, жалующіяся на свою долю, воркуютъ горлицы...

Изъѣденный до нельзя комарами и мелкой мошкаррой заяцъ, торопливо ковыляя и смѣшно вскидывая задомъ, выскакиваетъ вдругъ, какъ полоумный, на полянку, садится на заднія лапки, вытягивается, слушаетъ съ уморительно-серьезной мордочкой, шевеля кончиками поднятыхъ ушей, и вдругъ, ни съ того ни съ сего, принимаетъ

ся передними лапками часто-часто тереть себѣ щеки...

Но вотъ, гдѣ-то далеко-далеко слышатся раскаты грома, глухіе и мощные... Гроза еще далеко, но уже деревья притихли и ждутъ ее чутко и боязливо... Яркое свѣтившее солнце скрылось... Темно-свинцовая туча растеть, величаво медленно двигается, ползеть по небу, какъ бы цѣпляясь огромными лапами за верхушки лѣса...

Въ лѣсу все затихаетъ... Но вотъ гдѣ-то загудѣло... Шумъ все растеть... Вотъ сразу какъ-то вся затряслась, залепетала листьями чуткая осинка... За ней зашумѣли березы... Тяжелыя капли дождя зашлепали по листьямъ... Оглушительный ударъ грома разсыпался надъ головой, и вслѣдъ за нимъ льетъ, какъ изъ ведра, дождь...

Удары грома, блестящіе зигзаги молній, вой вѣтра, шумъ лѣса—все слилось въ одну общую, необыкновенно величавую гармонію. Но вотъ, мало-по-малу, гроза стихаетъ... Дождь все тише и тише... Постепенно удаляясь, громыхаетъ громъ... И вдругъ сразу въ лѣсѣ ворвалось солнце!.. Господи, какъ хорошо! Какъ все блеститъ и сіяетъ!.. Съ листьевъ, какъ алмазы, падаютъ дождевыя капли... Трава и умывшіеся цвѣты стоятъ и точно смѣются... Птицы опять зачирикали, защебетали, запѣли...

Мы съ матерью ходимъ по лѣсу и собираемъ грибы...

— Сенька!—а-у-у!—слышится гдѣ-то вдали ея голосъ.—Сенька, пострѣленоко, гдѣ ты?!.. А-у-у!..

Пѣвцы вдругъ какъ-то сразу кончили... Слушатели долго не отходили отъ нихъ, ожидая новыхъ пѣсенъ... Но они не пѣли и, поднявшись съ своихъ мѣстъ, ушли куда-то...

XVII.

Подошло время обѣда. Служащіе въ столовой молодцы, отвратительно ругаясь и толкая людей, начали разставлять по столамъ солонки... застучали большущими ложками и такими же чашками...

— За хлѣбомъ!.. Маршъ за хлѣбомъ,—заораль одинъ изъ нихъ,—живо!.. Не отставать... не задерживать!..

Толпа хлынула изъ столовой, давя въ дверяхъ другъ друга, на дворъ и построилась тамъ по череду одинъ за другимъ длинной вьющейся лентой...

Это дѣлалось потому, что хлѣбъ и „воробьевъ“ (такъ называли здѣсь небольшіе кусочки мяса) выдавали у дверей столовой, но только съ другой, противоположной стороны ея... Получившіе хлѣбъ входили въ двери и прямо садились за столы, начиная по порядку съ конца... Благодаря такому порядку, всѣ размѣщались безъ давки и шума...

Но прежде, чѣмъ попасть въ столовую, пришлось долго ждать на морозѣ... Тѣмъ, которые попали въ „чередъ“ первыми, еще ничего... Но представьте себѣ положеніе тѣхъ, которые стоятъ и ждутъ въ самомъ концѣ этой живой человѣческой ленты, состоящей человѣкъ изъ трехсотъ, а то и больше. Скоро ли дойдетъ „чередъ“ до нихъ... да и дойдетъ-ли?..

Случается такъ: ждутъ, ждутъ, подвигаются, подвигаются черепашнымъ шагомъ къ вождѣльному крыльцу, на которомъ одѣляютъ cadaго „пайкой“ хлѣба и кусочкомъ мяса (дѣйствительно, похотимъ на общипаннаго воробья), какъ вдругъ, у самой цѣли этого ожиданія,—„стой!.. поворачивай назадъ... мѣстовъ больше нѣтъ... всѣ столы заняты“... Жди, пока отобѣдаетъ эта партія и начнетъ обѣдать другая такая же, если еще не больше...

Если бы я былъ художникомъ, я нарисовалъ бы эту живую ленту людей, ожидающихъ обѣда... Я нарисовалъ бы эти изнуренныя, голодныя, злыя лица, эти разношерстные, рваные костюмы... скорчившіяся фигуры... грязный обледенѣлый дворъ и освѣтилъ бы все это яркими веселыми лучами солнца... И тогда, я думаю, у зрителя явился бы вопросъ: что это такое?.. люди-ли это, или какія-то ободранныя, загнанныя, затрепанныя собаки, дожидаящіяся, когда имъ выкинуть кость?..

Я стоялъ на „череду“ позади небольшого согнувшегося старичка... Лицо у него было худое, желтое, нездоровое... Удивительно злые глаза глядѣли исподдобья... Онъ водилъ ими, какъ затравленный волкъ, быстро переводя съ предмета на предметъ... и, очевидно съ голоду, злился на все и на всѣхъ, произнося безпрестанно отвратительныя ругательства...

— Ты чего, старый песъ, лаешься?—сказалъ ему стоявшій впереди молоденькій, съ отчаянно удалымъ лицомъ парнишка, вѣроятно, попавшій сюда съ Хивы и прошедшій огонь и воду.—Дамъ вотъ въ зубы разѧ—замолчишь...

Старичокъ такъ весь и затрясся отъ злобы.

— А ну-ка, дай!.. А ну-ка, дай!.. дай! Ты думаешь, ты одинъ жрать-то хочешь?... Анъ нѣтъ... здѣсь, братъ, не на Хивѣ... здѣсь васъ взнуздають...

— А, старый песъ, еще разговаривать!—крикнулъ парнишка и, какъ-то неожиданно ловко подставя ногу, толкнулъ его въ спину такъ, что тотъ полетѣлъ кубаремъ изъ „череды“ прямо на ледъ.—Вотъ тебѣ взнуздають! ха-ха-ха, взнуздалъ! мало, еще дамъ!..

Старичокъ вскочилъ на ноги и, какъ-то пронзительно завизжавъ, точно собака, которой мальчишки зажали хвостъ, бросился было на то мѣсто, откуда его вытолкнули, но его туда уже не пустили...

— Куда, старый чортъ!.. Ишь ты... впередъ отца въ петлю лѣзаетъ... Осади назадъ!..

— Мой чередъ!.. мой чередъ!—визжалъ старикъ, толкаясь, но видя, что встать ему на прежнее мѣсто не придется, что надъ нимъ всѣ только потѣшаются, онъ вдругъ пронзительно-отчаянно заплакалъ или, вѣрнѣе, завылъ и побѣждалъ, жалко скорчившись, утирая рукавомъ полущубка глаза, въ самый конецъ „череды“...

— Го, го, го!.. ха, ха, ха!..—неслось ему вслѣдъ. .

Получивъ на крыльцѣ „пайку“ хлѣба и „воробья“, я вслѣдъ за другими прошелъ въ столовую и, идя по порядку, попалъ за столъ...

На столѣ уже стояли и дымились чашки со щами — каждая на восемь человѣкъ — и лежали ложки, похожія скорѣе на деревенскія чумички. Ъсть не начинали, дожидаясь, когда соберется полный комплектъ, т. е. когда будутъ заняты всѣ столы... Наконецъ, всѣ столы наполнились...

— На молитву!—закричалъ служащій.

Люди встали и проѣли „Очи всѣхъ на Тя, Господи, уповаютъ“. Не успѣли еще окончить послѣдняго слова, какъ ложки съ изумительной быстротой опустились въ чашки, захватывая тамъ мутную воду съ запахомъ капусты... Люди торопливо глотали, давились, чавкали съ такимъ азартомъ и жадностью, что если бы сытый человѣкъ

посмотрѣлъ на это со стороны, то пришелъ бы въ ужась...

Въ одинъ мигъ чашки опорожнились!.. Послали за прибавкой... Такъ же быстро уничтожили и прибавку... Немного погодя, подали гречневую кашу въ такомъ ограниченномъ количествѣ, что ея едва хватило бы поѣсть до сыта двоимъ... Ее уничтожили въ одинъ мигъ такъ, что я едва успѣлъ зачерпнуть и проглотить одну ложку...

Едва успѣли, а нѣкоторые еще и не успѣли, доѣсть кашу, какъ насъ всѣхъ „погнали“ изъ-за столовъ вонъ, въ другія двери, чтобы очистить мѣсто „второму столу“...

Въ дверяхъ меня кто-то хлопнулъ по плечу.

Я оглянулся и увидѣлъ... дворянина. Лицо у него было веселое, улыбающееся... Глаза сіяли..

— Знаете что! — закричалъ онъ, оттаскивая меня въ уголъ сѣней,—а вѣдь фортуна-то хочетъ повернуть ко мнѣ свое капризное личико...

— Какъ такъ?

— А такъ... очень просто... дѣло-то вотъ какое оказывается... Въ конторѣ я разнюхалъ, что прогнали двухъ писарей... тутъ мнѣ одинъ человѣчекъ сообщилъ... ну, я, конечно, не будь дуракъ, прямо туда... прямо, понимаете, къ самому начальнику... къ Зевсу!.. Такъ и такъ, говорю... работать неспособенъ... это разъ, а во-вторыхъ—дворянинъ,

привилегированное лицо — два; ну, и, конечно, обратите вниманіе и т. д., и т. д.

— Ну и что же?

— Велѣлъ приходить завтра заниматься... а, что? ловко вѣдь?!

— Слава Богу.

— Только жалованье, понимаете, б-ррры!..

— Сколько?

— А вы никому не скажете?

— Нѣтъ...

— Три копѣйки въ день! — воскликнулъ онъ, какъ трагическій актеръ. — А?.. хорошо!.. Вы вникните: три копѣйки!..

— Ну что-жъ и то ладно... поживете, прибавять... Харчи готовые...

— Да вѣдь надо жить здѣсь три года, чтобы скопить на приличный костюмъ!.. Харчи, вы говорите... Чортъ ихъ возьми съ ихними харчами: я не знаю, обѣдалъ я, напимѣръ, сейчасъ или нѣтъ? Впрочемъ, навѣрно писарей лучше кормятъ... Какъ вы думаете?..

— Не знаю.

— А что это за чортъ съ вами вчера рядомъ спалъ? Что онъ—бѣшеный, что-ли, или декадентъ какой? Лицо такое идіотское!..

— Богъ его знаетъ!

— Дуракъ, очевидно... Покурить не раздобылись?

— Гдѣ-же?..

— Плохо!.. Знаете что — я пойду въ контору, попрошу тамъ у кого-нибудь изъ писарей табачку въ счетъ будущихъ благъ...

Онъ ушелъ... Я вышелъ на крыльцо и, облокотившись на перила лѣстницы, сталъ глядѣть на „чередъ“ идущихъ съ другого крыльца въ столовую обѣдать.

Два какихъ-то субъекта, одинъ пожилой, корявый, съ огромнымъ краснымъ носомъ и толстыми губами, другой — молодой, худой и длинный, съ наглыми на выкатъ глазами и съ какой-то странной, точно выщипанной бороденкой, растущей не такъ, какъ у людей, а какъ-то чудно, какими-то рыжевато-бурыми клочьями тамъ и сямъ,—стояли на нижнихъ ступенькахъ лѣстницы и разговаривали... Говорилъ собственно одинъ молодой, а пожилой только поддакивалъ да смѣялся... Отъ нечего дѣлать я сталъ слушать.

— Спрашиваетъ она у меня,—говорилъ молодой, продолжая раньше начатый разговоръ, котораго я не слыхалъ.—„Гдѣ же вы живете?“—Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту,—говорю ей, — сударыня-съ... „Какъ же такъ?“—Да такъ-съ... У меня домовъ, какъ у зайца ломовъ... „Ахъ, бѣдный, бѣдный!.. тяжело вамъ, я думаю?“—Что-жъ дѣлать, сударыня-съ, Господь терпѣть велѣлъ... „Ну, а чѣмъ же вы

занимаетесь“?—Выхожу одинъ я на дорогу, сударыня-съ..

— Го, го!—заржалъ пожилой,—это ты ловко... ну?..

— Ну и того... тары бары, на двѣ пары... то се, пято десято... Вижу, барыня дура... Сударыня, говорю, явите Божескую милость, не дайте душѣ хресъянской замерзнуть, позвольте ночевать?.. А паспорта у меня, понимаешь, нѣтъ... Думаю: ну, какъ спросить? нѣтъ, не спросила... „Ночуйте, ночуйте, голубчикъ“, говорить... И все, понимаешь, на „вы“ со мной... Потѣха!..

— Го, го го!—опять заржалъ пожилой,—вотъ такъ вы!.. вы!.. ахъ что-бъ тебя!..

— Ладно... Положили меня въ людской... Вижу, народу нѣтъ никого... одинъ кучеръ, да и тотъ пьяный спитъ безъ заднихъ ногъ... Масляница: народъ, извѣстно, гуляетъ... Ладно... Ночью я, не будь дуракъ, снялъ съ себя одѣяніе свое стрѣleckое, нарядился въ кучеровъ пиджакъ... валенки съ печки снялъ, полушубокъ... айда!.. наше вамъ почтеніе!.. Живо до города десять верстъ отмахалъ... у Сычихи ночевалъ... утромъ съ Володькой борзымъ все и пропили...

— Ловко!.. ха, ха, ха! Вотъ, чай, барыня то?.. „голубчикъ, голубчикъ... вы“... вотъ те „вы“... Го, го, го!..

XVIII.

Когда всѣ отобѣдали, я опять вошелъ въ столовую и хотя съ трудомъ, но всетаки разыскалъ себѣ мѣстечко въ углу на кончикѣ скамьи за однимъ изъ столовъ, твердо рѣшивъ не сходить съ него до вечера.

Облокотившись на столъ, я задумался, глядя на шумѣвшую, какъ пчелиный рой, толпу людей, и долго сидѣлъ такъ... Мнѣ стало грустно и стыдно,—что я допустилъ себя до всего этого и не имѣю теперь возможности уйти... Сердце мучительно ныло, когда я мысленно переносился домой, въ кругъ своихъ близкихъ, родныхъ...

Голосъ слѣва, раздавшійся такъ рѣзко, что я вздрогнулъ, надъ самымъ моимъ ухомъ, вывелъ меня изъ задумчивости.

— Землячекъ, а, землячекъ, ты чего это носъ-то повѣсилъ?..

Я обернулся и увидалъ какое-то квадратное, обросшее рыжими волосами, улыбающееся лицо стараго мужика. Глаза у него какъ-то странно, точно онъ игралъ ими, то закатывались вверхъ подъ лобъ, оставляя одни только бѣлки, то сурово спускались внизъ, при чемъ рыжія, необыкновенно густыя брови свирѣпо хмурились... Толстыя красныя губы улыбались и какъ-то смѣшно оттопыри-

вались подъ самый носъ — маленькій и сизый, похожій на грецкій орѣхъ...

Онъ повторилъ свой вопросъ и, видя, что я не отвѣчаю, заговорилъ снова.

— Тебя какъ звать-то?.. Брось думать-то! Э, милый, всѣ мы люди и всѣ человѣки: съ кѣмъ грѣхъ да бѣда не бываетъ... Пройдетъ все... опять на дѣло поступишь: ты человѣкъ, вижу я, не глупый... Не вѣшай головы, не печаль гостей!.. Пропился, знать, ась?

И, видя, что я опять не отвѣчаю, онъ продолжалъ:

— Всѣ мы такъ-то... не одинъ ты... Эва народу што, а спроси у любого, какъ, молъ, сюда попасть?— по пьяному дѣлу!.. Всѣ мы по пьяному дѣлу... Просты мы ужъ очень... слабы... къ вину предвержены... Женать?..

— Женать.

— А зять есть?

— Нѣтъ, зятя нѣту.

— Нѣту?.. говори слава Богу...

— Что-жъ такъ?

— А такъ... зять, я тебѣ прямо, милый, атлепартую: ядовитая штука... особливо богатый... заноза!.. Я, можетъ, черезъ зятя-то и пропадаю...

— Какъ такъ?

— А такъ... ты слушай... Ты мнѣ вотъ человѣкъ чужой, впервой тебя вижу, а душа у меня

къ тебѣ лежить... родные-то нонче хуже чужихъ... Опять и такъ сказать: понятія у нихъ нѣтъ, т. е. насчетъ хоть бы вотъ нашего брата... По-ихнему пропился—и больше ничего, никакой къ чловѣку жалости нѣтъ.. Хоть издохни!.. „Такъ и надо, скажутъ, за дѣло“... Видно, кто въ этой шкурѣ не бывалъ, на морозѣ не дрогъ, тотъ нашего брата постигнуть и понять не можетъ... потому—душа зачерствѣла... Говорится пословица: окрѣпнетъ чловѣкъ—крѣпше камня, ослабнетъ—слабже воды... По Христову ученью какъ? знаешь?... прощай чловѣка во всемъ, несчетное число разъ прощай, а они разу не простятъ... зачерствѣли!..

Онъ помолчалъ, досталъ тавлинку, понюхалъ, заморгалъ глазами часто-часто, крикнулъ и опять началъ, не торопясь, съ разстановками, степенно и внушительно, точно попъ съ амвона:

— Шурина у меня есть... Епаломъ звать... допрежь его Епалкой звали, а теперича Епаломъ Митричемъ величаютъ... живетъ здѣсь, въ Москвѣ на хорошей линіи, управляющимъ домовымъ на Петровкѣ... Сестра моя Грушаха за ѣмъ... Ну, только жисть ея хвалить погодить... прямо надо сказать—желтенькая жисть!.. Спуталась она съ нимъ въ дѣвкахъ... дура баба, извѣстно... Ну того... за-тижалѣла... Онъ, не будь дуракъ, хотѣлъ было того—улизнуть... отвертѣться, бросить ее. Да нѣтъ, стой,—шалишь! Не на такую нарвался... сичасъ

она, другъ милый, того... куда слѣдуетъ жалобу... Такъ и такъ, говорить, у меня документъ есть, собственноручный его, что жениться хотѣлъ... Опять, говорить, на Царицу Небесную Матушку Казанскую клялся... Портниха она. Грушаха-то, съ измалѣтства въ Москвѣ, порядки знаетъ... Ну, отлично... Туды, сюды... анъ, врешь—женись! Такъ и женился... ничего не попишешь... И въ тѣ поры жилъ ничего, хорошо, исправно. Мастеровой я... по конапатному дѣлу, конапатчикъ... Деньжонки у меня о ту пору, прямо тебѣ скажу, были... Виннымъ дѣломъ я мало зашибался,—гроза надо мной была: баба, жена—покойница, царство небесное... Отлично. Свадьбу надо играть, а у него, у шурина-то, волкъ его съѣшь, денегъ нѣтъ... Вретъ ли, въ заправду ли, а только говорить: нѣтъ и нѣтъ... Дѣло-то опосля узналось — совралъ онъ... тѣнь, тоись, одну наводилъ... Ну что жъ, думаю, надо человѣка выручить по родственному... Далъ ему.

Онъ опять помолчалъ и опять понюхалъ табачку.

— Сто бумажекъ ему, не за столомъ сказано, чорту, собственноручно всучилъ... Отлично!.. Сыграли свадьбу.—Онъ меня такъ на рукахъ и носить... такой, сякой, немазанный, шуренокъ, родной! — Ладно, молъ, хорошо!.. Ну стали они жить: жена на машинкѣ трекъ, трекъ... Онъ на линію попалъ... зафортунило ему... Знаешь, какъ пойдетъ линія,

играетъ и глиняна... Одначе денегъ мнѣ не отдастъ... Не отдастъ да и все!.. нѣту и нѣтъ... „Погоди, говоритъ, отдамъ, ужли зажилю“... Ну, водочки мнѣ поставитъ, закусить, то, се, —умаслитъ: министръ, а не мужикъ... Тянулъ, тянулъ. Старуха покойница поѣдомъ ѣстъ меня: „завыли наши денежки“!.. Захворала инда отъ этого. А можетъ и отъ чего другого, только похворала, похворала да и съ копыльевъ долой... отдала Богу душу... Загоревалъ я... закургузилъ... нынче выпить, завтра съ похмелья... Денежки таютъ... Думаю себѣ: ладно, у шурина есть... Пить да пить, милый, пить да пить... втянулся!.. На Хиву попалъ, потерялъ ликъ человѣчій... въ люди ужъ совѣстно идти,—нагъ, босъ, трясеніе во вѣхъ суставахъ... Но, однако, разъ собрался, отрезвѣлъ, ужаснулся самъ на себя... Пойду, думаю, къ шурина, возьму свои деньги, поступлю въ монастырь къ преподобному Мефодію на Пѣсношу... Тамъ, знаю, возьмутъ меня... Тамъ и косточки похороню, думаю... Пошелъ вечеромъ къ нему... днемъ то не ловко: ужъ очень я того, оборвался... Прихожу. Ну, здорово живете! Посмотрѣлъ онъ на меня: „ты кто, говоритъ, такой?“ Какъ кто?.. возьми глаза въ зубы... шурина твой Никифоръ!.. „Буде, говоритъ, вратъ то“... Да что ты, говорю, Епалъ, аль бѣлены обѣлся?.. За деньгами я къ тебѣ пришелъ... „За какими деньгами“? За своими. За долгомъ. „Что ты, говоритъ,

золотая рота, какой долгъ?.. Ничего я тебѣ не долженъ!“ Побойся, говорю, Бога, сестра вотъ свидѣтельница.. Сестра молчитъ, ни чукнетъ.. голову наклонила: покраснѣло у ней все рыло, какъ зарево... „Уходи, онъ говорилъ опять, пока цѣль“... Заплакалъ я... На колѣнки передъ нимъ всталъ, на старости лѣтъ, передъ жуликомъ... прошу, плачу... Да гдѣ же! нѣшто проймешь душу человѣчью, коли она зачерствѣла... Не далъ... отперся... кликнулъ пошелъ дворниковъ... „Выведите, говорить, его за ворота, да дайте ему хорошаго раза“... Ну дворники, извѣстно, рады... имъ потѣха... вытащили меня за калитку да и давай вваливать... Отвѣсили разовъ пятокъ, пустили.. Эхъ, обозлился я о ту пору... Да... а, что станешь дѣлать?.. Ну, думаю, пропадай! Взялъ, понимаешь, впервой отъ роду, всталъ на углу Столѣшникова переулка, у церкви то... знаешь?.. началъ просить Христовымъ именемъ... И задалось мнѣ на диво... Какой-то баринъ цѣлковый далъ сразу... Рупь семь гривенъ, живымъ манеромъ подстрѣлилъ я о ту пору... Ну, извѣстное дѣло, куда идти?.. Одна нашему брату дорога не заказана — въ трактиръ... Думаю себѣ, выпью водочки для храбрости, куплю пожикъ, зарѣжу пойду его анафему... Пришелъ въ трактиръ выпилъ сотку, мало показалось, еще выпилъ... а тамъ еще .. до сыта налакался... всѣ деньги ухнулъ... По утру въ части проснулся... Вотъ вѣдь какое дѣло!..

— Видаешь его когда?

— Нѣтъ... Господь съ нимъ... На што онъ мнѣ?..
А что, другъ,—добавилъ онъ, помолчавъ,—не по-
дремать-ли намъ пока, а?.. До ужина то далеко...

И, говоря это, онъ положилъ „кренделемъ“ на
столъ руки, ткнулся въ нихъ головой и вскорѣ
захрапѣлъ...

XIX.

Я хотѣлъ было послѣдовать его примѣру, но
не могъ и вышелъ изъ столовой на крыльцо...

Постоявъ здѣсь съ полчаса, я думалъ было
идти обратно, потому что озябъ и что-то стало у
меня покалывать въ боку, какъ вдругъ увидалъ
идущую подъ горку къ крыльцу; гдѣ я стоялъ,
высокую женщину, закутанную въ сѣрую шаль...
На рукахъ она несла грудного ребенка и вела за
ручку дѣвочку, худенькую и крайне бѣдно одѣ-
тую... Подойдя къ крыльцу, она остановилась и
спросила у меня, съ трудомъ выговаривая слова
отъ усталости и тяжело дыша, какъ загнанная
лошадь:

— Батюшка, здѣся столова, ай нѣтъ?..

— Здѣсь.

— Скажи ты мнѣ на милость, какъ мнѣ мужа
сыскать?..

— А онъ здѣсь?

— Здѣся... Я доподлинно узнала... здѣся онъ...

Охъ, отъ Калущкихъ воротъ шла... смерть моя!
Какъ мнѣ его увидать-то, разбойника?!

— Спросить надо... тутъ народу много... Иди за мной.

И ввелъ ее въ столовую. Она, робѣя, остановилась въ дверяхъ. Вѣроятно, этотъ шумъ и видъ множества такихъ „страшныхъ“ людей поразилъ ее... Ее сейчасъ же окружила толпа любопытныхъ.

— Кто такая? Зачѣмъ? Кого надо?

— Мужа бы мнѣ... сказывали: здѣся...

— Мужа?.. Какого мужа? какъ звать?—заоралъ какой-то здоровенный малый надъ самымъ ея ухомъ.—Не я-ли грѣхомъ...

— Звать-то... Иваномъ... Иванъ Красавинъ.. Фабричный онъ... на самоткацкой работалъ...

— Иванъ Красавинъ! — заоралъ малый, обернувшись къ толпѣ, — Красавинъ! Иванъ Красавинъ... чортъ... эй! кто здѣся Красавинъ, выходи лѣшій!.. Эй, Красавинъ!..

— Здѣся!.. Я Красавинъ! — раздался гдѣ-то вдали голосъ.

— Иди сюда, дьяволъ... жена пришла!..

Торопливо, расталкивая толпу, появился Красавинъ. Это былъ малый, лѣтъ тридцати, испитой, измятый какой-то, съ синими мѣшками подъ глазами... Увидя жену, онъ какъ-то сразу ошалѣлъ и попятился назадъ, точно волкъ, котораго выгнали облавой изъ чащи прямо на охотника.. Онъ

глядѣлъ на нее во всѣ глаза и, очевидно, даже не вѣрилъ себѣ—жену-ли онъ видить, или это дьявольское навожденіе... Баба заплакала... Дѣвочка уцѣпилась обѣими рученками за подолъ матери и тоже заплакала...

— Ты какъ сюда попала?—вдругъ заговорилъ пришедшій въ себя мужъ и какъ-то сразу перемѣнился. Лицо его стало до крайности нагло, отвратительно... Глаза загорѣлись злобнымъ чахоточнымъ блескомъ.—Какъ тебя сюда чортъ занесъ? Чего надо?

— Чего надо? — заголосила баба жалобно и громко:—Люди добрые,—обратилась она къ притихшей и жадно смотрѣвшей на эту сцену толпѣ, какъ бы призывая ее въ свидѣтели и въ защиту:—спрашиваетъ: чего надо?—Ушелъ, бросилъ меня съ дѣтьми одну одинешеньку на чужой сторонущкѣ!.. Вторую недѣлю ищу его... маюсь, не пимши, не ѣмши... Слезъ пролила, можетъ рѣки.. А онъ—на-ка поди!.. Дѣтей-то бы пожалѣлъ, варваръ, мошенникъ, притка тебя прострѣли!.. Дохлый песъ... На, бери дѣтей-то... Корми! Пьяница... Злодѣй!..

— Лайся! лайся! — отвѣтилъ мужъ,—я те подаюсь!..

— Убить тебя мало, дохлаго гнилого пса!.. Какъ же, люди добрые, посудите, Христа ради, сами... Жилъ на фабрикѣ... домой ничевошеньки, ни синя пороху не подавалъ. Дома перекусить

нечего: останний мѣшокъ, коли еще! до Миколы съѣли... Свекоръ больной, на ладанъ дышетъ... бѣдность, нужда... Останнюю коровенку за оброкъ со двора свели... Говорить надъсь свекоръ: „Ступай, говорить, молодушка, къ ему, разбойнику, бери дѣтей, а мы со старухой по міру пойдемъ... Что-жъ тебѣ здѣсь издыхать, что-ли, съ голоду“... Пошла я... болѣ ста верстъ шла пѣша... Зимнее время, а мое дѣло бабье... опять дѣти... Пришла въ Москву, нашла его... вижу: почитай голый, пропился весь, съ фабрики то прогнали, у земляковъ Христа ради проживаетъ... На, говорю, дѣтей-то, такой сакон!.. А онъ, не будь глупъ, шапку въ охапку... Я, говорить, сбѣгаю, чаю заварю—чай, съ дороги то устала, прозябла... погрѣйся, — да и былъ таковъ: втору недѣлю чай-то завариваетъ... Я туды, сюды—нѣтъ! какъ въ тучку кануль... А извѣстно — мое дѣло бабье, что я смыслю? Опять пить-ѣсть надо... Икала я его по Москвѣ-то, искала... словно въ лѣсу дремучемъ... Спасибо, научилъ меня одинъ его знакомый, землякъ нашъ: „иди ты, говорить, баба, въ рабочій домъ, безпремѣнно онъ таматко, болѣ ему негдѣ быть“... —Ну, разбойникъ,—обратилась она опять къ нему,—что скажешь?.. бери ребятъ-то... корми!..

— На кой они мнѣ... Пошла къ чорту: заработаю — вышлю... Что ты срамить то меня пришла, дура баба!.. деревня чортъ, неубуданная!..

— А ты, братъ, потише!—вступился вдругъ въ разговоръ совсѣмъ еще молодой, высокій и стройный хитровецъ съ „отчаяннымъ“ лицомъ и бойкими ухватками, — баба дѣло говорить. Какого ты чорта ее не кормишь? Женился тоже, сволочь паршивая! Дамъ вотъ въ рыло то!..

— Молчи, золотая рота! — огрызнулся на него мужъ.

— Золотая рота! — передразнилъ его малый.— Я золотая рота и буду... по крайности одинъ... чужого вѣка не заѣдаю... А ты что? Жену прокормить не можетъ, сволочь... Я бы украсть да далъ.. Повѣсить тебя!.. Ишь ты, ловкачъ, кашку съѣлъ—горшокъ на шестокъ...

— Вѣрно! — раздались въ толпѣ голоса, — что вѣрно, то вѣрно... Не заѣдалъ бы чужого вѣку... не женился бы...

Слушая это, баба стояла и громко плакала...

Мужъ злобно глядѣлъ на нее. По лицу у него выступили красныя пятна.

-- Иди! — сказалъ онъ, — отколь пришла... У меня нѣтъ ничего... заработаю вотъ, вышлю—разо-
рваться мнѣ, что-ли, ай родить тебѣ денегъ то!

--- Куда-жъ я пойду?

— Домой иди, въ деревню.

— Да мошенникъ ты эдакой... Ай на тебѣ креста нѣтъ. Ты хочь дѣтей-то пожалѣй... Ангель-

скія-то душки за что муку несутъ? Куда я съ ними дѣнусь? Какъ пойду-то опять?

— Какъ пойдешь?.. ногами!.. Мнѣ взять негдѣ... Сама видишь...

— Вотъ, сволочь-то! — крикнулъ опять малыи съ отчаяннымъ лицомъ. — Эхъ, на мои бы зубы! Разорвать бы!.. Попадись ты мнѣ на Хивѣ—душу вышибу!.. Не люблю смерть такихъ... За правду глотку прорву!..

— А мнѣ гдѣ-жъ взять: я—баба.

— Поправлюсь, говорю, вышлю и батюшкѣ такъ скажи...

— Да, вышлешь ты... какъ же... Матушка ты моя, Царица Небесная! — отчаянно вдругъ заголосола она:—Что-же это таперича будетъ-то?.. Куда-жъ я дѣнусь-то?.. Какъ пойду этакую стужу съ дѣтьми малыими... О-о-о, головушка моя!.. Говорила матушка, не ходи за него... нѣтъ, пошла!.. Разбойникъ ты, разбойникъ! Кровопійца, идолъ! Ни стыда-то въ тебѣ, ни совѣсти!.. безстыжія твои бѣльмы, поганья... тьфу!..

— Лайся, лайся! На меня понѣ ни одна собака не лаяла, ты вотъ первая...

— А ты вотъ что, — вступился опять малыи, обращаясь къ бабѣ.—Я тебя научу... Гдѣ-жъ тебѣ идти... дорога дальняя.. Паспортъ при тебѣ есть?

— Какой родной, паспортъ?.. нѣтути...

— Ну ладно, все одно... Иди ты прямо въ кон-

тору здѣшнюю, спроси тамъ управляющаго, на-
большаго, — тамъ тебѣ скажутъ... Расскажи ему
все, поклонись въ ноги, попроси хорошенько: такъ
и такъ молъ... идти не могу, потому съ дѣтьми.
Проси у него на машину денегъ.. Скажи: мужъ,
молъ, заживетъ здѣсь... заработаетъ.. Все равно,
скажи, коли ему отдать,—пропѣтъ...такъ и скажи:
дасть!..

— О!—радостно воскликнула баба,—дасть?!

— Дасть!

— Не дасть!—сказалъ кто-то.

— Дасть! дасть! Чай не сто рублей! — закри-
чало нѣсколько голосовъ сразу, — Это ты, Мишъ,
вѣрно, ловко придумалъ!.. Иди, тетка! больше тебѣ
дѣлать нечего... Дасть... а его, гуся, отсюда не
выпускай, пока не заработаетъ.. ха, ха, ха!

Баба поправила на головѣ „шалъ“, взяла за
руку дѣвочку и, сказавъ: „Спасибо вамъ, род-
ненькіе!“—пошла въ дверь, не взглянувъ на мужа,
стоявшаго съ краснымъ лицомъ и побѣлѣвшими
трясущимися губами...

— Ребята!.. наши!.. Хива!—крикнулъ малыи съ
отчаяннымъ лицомъ, какъ только захлопнулась
за ней дверь. — Ну-ка — „Сѣни мои сѣни“, по бо-
камъ припѣвъ...

„Мужъ“ какъ-то сразу очутился среди плотно
обступившей его толпы молодцовъ съ Хивы... Раз-
дался было крикъ: „караулъ“!.. по сей часъ же смолкъ.

— Бей его, дьявола!

Я вышелъ на крыльцо... Баба шла въ гору за уголъ краснаго дома, плача и утирая рукавомъ глаза. Дѣвочка бѣжала за ней, цѣпляясь рученками за подолъ ея юбки, и тоже плакала...

— Такъ ему и надо! — подумалъ я и содрогнулся вдругъ отъ ужаса, вспомня свою жену и дѣтей.—Ты то самъ развѣ лучше его?

XX.

Вечеромъ, послѣ ужина, состоявшаго изъ однихъ пустыхъ и мутныхъ щей, идя изъ столовой въ спальню, я чувствовалъ какую-то страшную слабость во всемъ тѣлѣ и боль въ боку... Появился кашель и ознобъ...

— Неужто воспаленіе? — съ ужасомъ думалъ я, — этого только еще не доставало... Что тогда дѣлать?..

Придя въ спальню, я засталъ своего вчерашняго знакомаго уже лежащимъ на койкѣ.

— Ну что,—встрѣтилъ онъ меня,—хорошо въ столовой?.. понравилось?..

— А вы не были?..

— Нѣтъ .. Я вѣдь на правахъ больного... у меня отъ доктора записка,—что я могу проводить время здѣсь, въ спальнѣ, а не тамъ... Тамъ съ ума сойдешь безъ дѣла... Да что съ вами? вдругъ, какъ-

то перемѣнивъ тонъ, спросилъ онъ, глядя на меня.— На васъ лица нѣтъ!

— Нездоровится.

— Чего нездоровится, да вы совсѣмъ больны!.. Ишь васъ колотить. Нервы еще эти проклятые! Я ужъ знаю... Хотите,—заварю чаю?

Я хотѣлъ было поблагодарить его, но не могъ. Къ горлу вдругъ подкатился точно шаръ какой-то, и начали душить слезы..

— Ай, ай, ай! ай, ай, ай!—заволновался онъ,—вотъ это не хорошо!.. Экъ вѣдь, батенька, какъ мы пьянствомъ то себѣ нервы коверкаемъ . хуже бабъ дѣлаемся... Полноте! бросьте! стыдно!.. Я вотъ сейчасъ чаю заварю... Попьемъ, потолкуемъ и ладно... Ложитесь пока!.. Стаскивайте съ себя эту хламиду - то чортову... а я сейчасъ... О, Боже, Боже!..

Онъ досталъ изъ-подъ изголовья палочку цикорія или, по здѣшнему, „цики“, отломилъ кусочекъ, кинулъ въ чайникъ, супулъ ноги въ чюни и торопливо пошелъ заваривать этотъ „чай“ въ столовую ..

Я ткнулся ничкомъ на койку, изо всѣхъ силъ стараясь сдержать проклятыя слезы и боясь, чтобы кто-нибудь не поднялъ меня на смѣхъ ..

Онъ скоро возвратился, и мы сѣли на подоконникъ пить „чай“...

— Вы вотъ что,—сказалъ онъ,—ступайте завтра

въ девять часовъ утра въ больницу къ доктору... Докторъ здѣсь для нашего брата, рабочихъ, душа человѣкъ... Онъ васъ положить въ больницу... Тамъ вы обмоетесь, отдохнете, въ себя придете, обдумаете свое положеніе, нервы улягутся.. Вѣдь это все отъ пьянства, да отъ этой одуряющей обстановки дѣлается... Здѣсь, батюшка, не такіе, какъ вы, а прямо съ виду богатыри, самъ я очевидецъ, плакали, какъ дѣти... Полежите тамъ недѣлку, другую, опомнитесь.. Мой совѣтъ: письмо домой послать. Не бросать же васъ такъ, безъ вниманія. Уѣзжайте или уходите домой... Здѣсь вамъ оставаться нѣтъ никакого смысла.. Во-первыхъ, работъ мало, а во-вторыхъ— скоро ли вы по двугривенному то наколотите денегъ? Вѣдь это если работать мѣсяцъ, каждый день, чего никогда не бываетъ, и тогда только — шесть рублей... Что вы на нихъ сдѣлаете?.. Домой надо, домой, домой...

— Неловко очень домой-то... стыдно..

— Стыдно... Чего стыдно? Чтó вы обокрали кого-нибудь, убили?.. Ложный стыдъ!.. Стыдно было дѣлать такъ, а „повинную голову и мечъ не сѣчетъ“... Стыдно!.. Чудакъ вы!.. Да дай Богъ, чтобы побольше блудныхъ сыновъ возвращалось...

Совѣтъ этого добраго человѣка ободрилъ меня. Больница, какъ это ни странно, стала казаться мнѣ какой-то обѣтованной землей..

— Такъ и сдѣлаю,— сказалъ я,— какъ вы совѣтуете... пойду завтра.. только боюсь, не воспаление ли?

— Да будетъ вамъ! какое къ чорту воспаление! просто отъ пьянства почки болятъ.. У меня это же самое было.. Закатятъ вамъ тамъ мушку во всю спину, и какъ рукой сниметъ! Тамъ изъ ста человѣкъ девяносто съ мушками. Здѣсь исключительно только мушками и лѣчатъ. Серьезныхъ больныхъ нѣтъ: серьезныхъ отправляютъ во вторую городскую... Здѣсь лежатъ *здоровые* больные.. Что только дѣлается тамъ, вотъ увидите! И время проведете отлично.. почитать есть что.. ну и сравнительно, чисто.. выпитесь до сыта Я васъ, пожалуй, навѣщу какъ-нибудь.. У васъ вѣдь денегъ нѣтъ?

— Нѣтъ, конечно.

— Ну, я вамъ табачку дамъ: тамъ табакъ дороже хлѣба. И бумаги, и конвертъ принесу.. Письмо домой настрочите... Ну, на марку не могу дать, у самого мало.. да это не важно: дойдетъ и безъ марки, еще вѣрнѣе.. Вамъ ли унывать?.. свой домикъ, жена, дѣти.. Эхъ, я вамъ скажу, есть здѣсь личности, посмотрѣлся я, вотъ тѣмъ унывать не грѣхъ... ни кола, ни двора, ни родныхъ, ни знакомыхъ.. одна Хива.. Тутъ и мать, и жена, и сестра, и родина... О!.. Есть здѣсь мальчикъ, онъ теперь въ больницѣ, вы можете, его увидите..

Отецъ у него тутъ въ Москвѣ, гдѣ-то на Хивѣ путается, пьяница горькій, матери нѣтъ, — замерзла пьяная гдѣ-то на Грачевкѣ, подъ воротами... Сынишку отдалъ этотъ отецъ куда-то въ коробочники. Били его жестоко, онъ убѣждалъ — на Хиву... къ отцу.. А отецъ взялъ да и продалъ тамъ его какому-то негодяю за бутылку водки да за фунтъ колбасы вареной...

— Зачѣмъ же онъ покупателю?

— Зачѣмъ?. Да вы на Хивѣ-то развѣ не жили?

— Нѣтъ.

— Э, ну такъ вы еще. значить, жизни не видали.. Да тамъ это самое обыкновенное дѣло... За чай да за калачъ такія штуки продѣлываютъ...

И онъ разъяснилъ мнѣ отвратительныя цѣли покупки.

— Да что-жъ на это никто не обратитъ вниманія?

— Кому нужно?.. кто станетъ въ это входить? Э батенька, правда-то знаете — гдѣ?.. Да что! Я какъ-то читалъ, въ какой-то газеткѣ здѣшней московской, вотъ про это наше отдѣленіе работнаго дома... такъ вѣрите — умилился до слезъ — такъ хорошо написано!.. И чистота-то, и воздушно масса, и каждому-то отдѣльная кровать, и столъ отличный, чуть ли не по фунту мяса на каждого, и залъ-то концертный скоро отдѣлаютъ, картины туманныя станутъ показывать!.. Концертный залъ!.

Ха-ха-ха! туманные картинки!.. Ну, скажите, ради Господа, пошли бы вы вот сейчас смотрѣть ихъ?.. До того ли намъ? Хоть бы обращались-то по-человѣчески, не какъ съ собаками. . Что, былъ сегодня управляющій въ столовой?

— Нѣтъ.

— Жаль, а то-бы посмотрѣли картину. Войдетъ, понимаете, не одинъ, а со свитой,—какіе-то прихлебатели позади... войдетъ и заоретъ: „Встать!..“ Ну, конечно, всѣ вскочатъ, молчаніе мертвое... А какъ обращается съ рабочими?.. „Ты“, „мерзавецъ“, „подлецъ“, „негодяй“, только и слышишь! Подлость!

Онъ закашлялся и замахалъ рукой, какъ бы отгоняя что-то...

— Будетъ, — съ трудомъ выговорилъ онъ, — ну, ихъ къ чорту... Не нами заведено, не нами и кончится... Ложитесь, да давайте потолкуемъ про деревню... Скоро весна вѣдь: снѣгъ стаетъ, тетерева по утрамъ затокують, валдшнепы прилетятъ.. О!.. вы не охотникъ?..

Мы легли... Онъ началъ говорить про свою жизнь дома, про охоту, про рыбную ловлю, про пчелъ... Разказы эти дышали любовью и какой-то особенной, душевной прелестью..

Я долго слушалъ его, совсѣмъ позабывъ, что нахожусь въ спальнѣ рабочаго дома...

XXI.

На другой день утромъ я отправился въ больницу... Доктора еще не было... Въ пріемной дожидалось человѣкъ пятнадцать... Молоденькая, симпатичная фельдшерица записала наши фамиліи. Мы усѣлись въ прихожей на узкой и длинной скамьѣ и стали ждать. Рядомъ со мной помѣстился какой-то молодой человѣкъ съ длинными курчавыми волосами.

Ему не сидѣлось спокойно... Онъ какъ-то срзалъ по скамьѣ, пожималъ плечами и безпрестанно чесалъ свою голову.

— Что ты не сидишь покойно?—сказалъ я,— что у тебя болитъ?

Онъ испуганно взглянулъ на меня большими „телячьими“, какими-то жалобными глазами и тихонько, чуть не плача, сказалъ:

— Бѣда!.. заѣли...

— Давно въ работномъ домѣ?—спросилъ я у него съ невольнымъ участіемъ.

— Недавно... Приѣхалъ въ Москву на мѣсто... да загулялъ...

— А ты кто—крестьянинъ?

— Нѣтъ, я изъ духовныхъ... У меня отецъ дьяконъ въ Клинскомъ уѣздѣ... Дядя еще есть—тоже дьяконъ здѣсь въ Москвѣ, на Старой Басман-

ной (онъ называлъ богатый и пзвѣстный приходъ), да нельзя мнѣ къ нему... совѣстно...

— Что-жъ, ты учился гдѣ-нибудь?..

— Учился въ семинаріи у Троицы... да выгнали изъ четвертаго класса...

— Мамаша, небось, жива?...

Онъ заморгалъ глазами.

— Жива... Хочу у доктора попроситься въ больницу... Письмо къ дядѣ пошлю... Очень мнѣ тяжело!

Онъ наклонилъ голову и замолчалъ.

Немного погодя пришелъ докторъ. Это былъ средняго роста брюнетъ, худощавый, съ добрымъ, симпатичнымъ лицомъ.. Онъ сѣлъ къ столу и сталъ вызывать по фамиліямъ.

Первымъ подошелъ къ нему коренастый и крѣпкій, лѣтъ 60-ти старикъ.

— Ты что, дѣдъ?

— Зубы... зубами маюсь!..

— Гдѣ?

— Во, гляди!..

— Вырвать?

— Рви!

— Садись!

Докторъ взялъ щипцы и вырвалъ зубъ. Старикъ только головой мотнулъ и, сплюнувъ въ тазикъ, сказалъ:

— Рви другой!

Докторъ вырвалъ другой и сказалъ:

— Еще, что ли?

— Рви!

Докторъ вырвалъ третій зубъ и опять, улыбаясь спросилъ:

— Ну еще, что ли?

— Нѣтъ, будетъ!—сказалъ старикъ съ такимъ выраженіемъ въ голосѣ, какъ будто отказывался отъ рюмки водки, которую его упрашивали выпить... Всѣ засмѣялись...—Спасибо!—сказалъ онъ и пошелъ въ прихожую, кладя по полу, точно печати, оттаявшими чунями клѣтчатые слѣды.

Подошелъ слѣдующій... Докторъ выслушалъ его, осмотрѣлъ и нарисовалъ на правомъ боку карандашомъ квадратъ.

— Приходи въ четвертомъ часу сюда... въ больницу ляжешь,—сказалъ онъ.

Дошелъ чередъ до меня.

— У тебя что?

— Бокъ больно.

— Какой?

— Правый.

— Сними рубашку.

Я снялъ. Онъ сталъ слушать.

— Ого! сердце-то того... Ни вина, ни пива отнюдь нельзя пить... Эхъ, народъ, не бережете вы свое здоровье!.. Ну, что-жъ, желаешь полежать въ больницѣ?

— Сдѣлайте милость!..

— Можно! Къ боку тебѣ мушку поставимъ,— и, говоря это, онъ начертилъ мнѣ карандашомъ на боку квадратъ.—Приходи часа въ три.

Я надѣлъ рубашку, полушубокъ и пошелъ въ столовую.

— Взяли! и меня взяли!—услыхалъ я за собой голосъ и, обернувшись, увидалъ молодого семинариста. Онъ былъ радъ, точно ребенокъ, которому подарили игрушку ..

— Начертилъ мушку?—спросилъ я.

— Начертилъ! Слава Тебѣ, Господи! — онъ вдругъ перекрестился нѣсколько разъ торопливо и часто повторяя:—Слава Тебѣ, Господи! Слава Тебѣ, Господи!..

XXII.

Въ три часа я пошелъ въ больницу. Тамъ, въ прихожей, уже дожидались семинаристъ и еще какихъ-то двое, принятыхъ сегодня же въ больницу.

Вскорѣ пришла нянька и повела насъ въ такъ называемую „мужскую уборную“, гдѣ была ванна.

— Раздѣвайтесь! сказала она, — кладите сюда вотъ къ порогу свою рухлядь... Вотъ вамъ бѣлье... халаты... туфли... Пользайтесь въ ванну по-двое заразъ... Вонъ кранты... въ этомъ вотъ холодная, а

здѣся горячая... Вымоетесь, я васъ наверхъ сведу въ третье отдѣленіе... Мойтесь на здоровье... небось, обовшивѣли...

Она ушла. Мы начали раздѣваться.

— По-двое заразъ велѣла, — сказалъ высокій длиннородный старикъ, напуская воды, — а какъ по двое-то: у него вонъ,—онъ кивнулъ на сосѣда, худенькаго, плюгавенькаго человѣчка, — я давѣ видѣлъ, вся спина въ чирьяхъ... Какъ съ нимъ лѣзть-то?.. Я не полѣзу.. Слышь, землякъ,—обратился онъ ко мнѣ, — полѣземъ мы съ тобой первыми... Чего тутъ... сымай рубашку-то... сигай!.. Господи благослови!.. О-о! важно!..

Я скинулъ рубашку и забрался къ нему въ ванну. Намъ было тѣсно и неловко. Старикъ, какъ тюлень, вертѣлся съ боку на бокъ и брызгался водой.

— О, важно! — твердилъ онъ, — мальѣ! Одно плохо, уже на ночь мушку вляпають... Здорово дереть, анафема!.. Тебѣ тоже, землякъ, мушку? — спросилъ онъ у меня.

— Тоже.

— Да ужъ здѣсь лѣкарство одно... Ну, будя... слава тебѣ, Господи!.. Теперича бы половиночку раздавить гоже,—добавилъ онъ, вылѣзая изъ ванны,—да закусить сняточкомъ!..

— Да у тебя что-жъ болить-то? — спросилъ я.

— Да какъ-те сказать не соврать: одышка вродѣ

какъ... кашель... мокрота душить... А то я ничего, слава Богу...

Мы надѣли чистое бѣлье, полосатые халаты, туфли, и я почувствовалъ себя другимъ человекомъ.. Стало какъ-то легко, во всемъ чистомъ, и страшно дѣлалось при взглядѣ на валявшуюся у порога скинутую одежду...

Послѣ насъ, путивъ свѣжую воду, полѣзали въ ванну семинаристъ и плюгавенькій человекъ... Я убѣдился, что старикъ сказалъ правду: вся спина у него была въ чирьяхъ...

— Эхъ, порядки здѣшніе!.. — укоризненно сказалъ старикъ.

XXIII.

Третье мужское отдѣленіе представляло изъ себя большую, чистую, свѣтлую, но биткомъ набитую больными, палату... Койки стояли такъ же, какъ въ спальнѣ № 15-й, по двѣ въ рядъ, сдвинутыя вмѣстѣ... Кромѣ того, койки стояли и по одиночкѣ, тамъ, гдѣ только было возможно поставить ихъ. Всѣхъ больныхъ, какъ я узналъ послѣ, было въ этой палатѣ 75 человекъ.

Шумъ, крикъ, хохотъ стояли въ палатѣ нисколько не тише, чѣмъ въ спальнѣ... „Больные“ играли въ карты, въ шашки, читали, курили, ходили, шлепая туфлями по полу, въ полосатыхъ

халатахъ, надѣтыхъ у кого въ рукава, у кого въ накидку, по широкому проходу, изъ одного конца палаты въ другой...

Мнѣ досталась койка въ углу у окна, около стѣны. Я сѣлъ на нее, посмотрѣлъ на своего соседа, и... меня охватилъ ужасъ.

Рядомъ со мною лежали „живыя мощи“ и глядѣли на меня какими-то бѣлесоватыми, злобными, страшно ввалившимися глазами. Это былъ старикъ, лѣтъ 70-ти, худой, страшный, костлявый, косматый. Онъ лежалъ на спинѣ, покрывшись одѣяломъ, поднявъ колѣнки, которыя какъ-то страшно, точно у мертвеца, обрисовывались подъ этимъ одѣяломъ... Одна рука у него была закинута подъ голову, другая лежала поверхъ одѣяла... Руки эти были тонки и худы, точно палки, обтянутыя кожей... Изъ-подъ края подушки, подъ головой, выглядывали „пайки“ черного и бѣлаго хлѣба...

Но самое страшное, что увидалъ я и отъ чего пришелъ въ ужасъ, это насѣкомыя, которыя ползали по лицу этого старика... кишмя кишѣли въ бородѣ, въ волосахъ, на головѣ...

Я не могъ смотрѣть и отвернулся отъ него съ ужасомъ, отвращеніемъ и жалостью...

— Господи! какъ онъ еще живетъ, несчастный! — подумалъ я, — что же это такое?!

— Что, землякъ, глядишь? — спросилъ у меня

съ противоположной койки молодой парень, на-
блюдавшій за мной,—послалъ тебѣ Богъ сосѣда...
Вотъ лежитъ тутъ ни живой, ни мертвый... Не
издыхаетъ да и все! А озорникъ какой — страсть...

— Что-жъ его не уберутъ отсюда?

— Да куда-жъ его?.. Ждутъ, когда сдохнетъ..
Допрежъ онъ внизу лежалъ со слабыми... Не знаю,
зачѣмъ сюда перевели... Должно, скоро капутъ
ему... Да ты хлопочи на другую койку... Вотъ
завтра пойдутъ на выписку, ты и хлопочи.. Съ
нимъ лежать-то грѣхъ одинъ... Озорникъ... матер-
шинникъ... даромъ, что старый... Что, старый чортъ,
глядишь?—обратился онъ къ нему, —про тебя го-
ворю.. У-у-у, песъ!..

Стало темно... Зажгли лампы... Одна изъ нихъ
какъ разъ пришлась противъ моей койки... Не-
много погода, няньки, — разбитныя и нахальныя,
съ черезчуръ развязными манерами и такими же
словечками (которымъ онѣ научились, очевидно,
на Хивѣ), получающія здѣсь по три копѣйки въ
день жалованья,—стали разносить ужинъ... Ужинъ
этотъ состоялъ изъ какого-то мутнаго, прокис-
шаго и въ микроскопическомъ раамѣрѣ перло-
ваго супа...

Полужинавъ, я хотѣлъ было устроиться и лечь
спать, какъ вдругъ кто-то крикнулъ на всю палату:

— Новенькіе!.. пожалуйста на живодерню!.. Муш-
ки ставить!.. Кому мушки? подходи!..

Этимъ дѣломъ, т. е. прикладываніемъ мушекъ—или, какъ адѣсь выражались „живодёрствомъ“ — занимался не фельдшеръ, а просто такой же „золоторотецъ“ больной, какъ и всѣ. Онъ лежалъ въ больницѣ уже семь мѣсяцевъ, присмотрѣлся и привыкъ ко всѣмъ порядкамъ... Фельдшеръ, вѣроятно, рѣшилъ, что это дѣло не хитрое, и самому заниматься этимъ незачѣмъ...

Мы всѣ четверо подошли къ этому „живодеру“, разставившему свою „аптеку“ на табуреткѣ посреди палаты... Толпа больныхъ окружила насъ... Пошелъ смѣхъ и остроты...

— Ну, раздѣвайтесь! — сказалъ „живодеръ“. — Я вотъ вамъ вляпаю... останетесь довольны!..

Онъ живо „вляпалъ“ намъ всѣмъ по мушкѣ и такъ крѣпко забинтовалъ грудь, что трудно было дышать...

— Ну, подходи теперь, кому вечеръ ставилъ? Снимать стану! — крикнулъ онъ.

Подошло шесть человѣкъ. Изъ любопытства я не пошелъ на свое мѣсто, а остался посмотриѣть, что будетъ.

— Ну, стаскивай рубашку-то! — крикнулъ „живодеръ“ на какого-то подслѣповатаго, съ желтымъ и бритымъ лицомъ, сильно робѣвшаго человѣка. — Аль думаешь, — горнишная придетъ сымать то ее!..

Бритый человѣкъ, кряхтя и какъ-то корчась, скинулъ рубашку и бросилъ ее на полъ.

„Живодеръ“ живо разбинтовалъ бинтъ.

— Ну, держись!..

Онъ сразу сдернулъ мушку... Бритый человѣкъ такъ и подскочилъ кверху...

— Важно наядрила... Мотри, какой мѣшокъ надрала! — слышались возгласы больныхъ. — Здорово!..

„Живодеръ“ взялъ ножницы, протригъ ими пузырь, спустилъ воду и, взявъ пальцами съ уголка отвисшую кожу, началъ безъ церемоніи сдирать ее со всего нарисованнаго докторомъ квадрата... Больной корчился и крѣпко стиснулъ зубы, боясь закричать...

— Держися, небось!.. Задаромъ здѣсь кашей не кормятъ!.. Помнить будешь... ха, ха, ха... Петровъ, мажь тряпку саломъ, вмазывай ему!.. Подходи другой!.. Становись ты, долговолосый!..

Я не сталъ больше смотрѣть и пошелъ на свое мѣсто. Мой сосѣдь-старикъ лежалъ, укрывшись одѣяломъ съ головой, и, должно быть, спалъ... Я поднялъ свое одѣяло, раздѣлся и тоже легъ спать...

XXIV.

Проснулся я отъ какого-то шороха... Кто-то тащилъ, какъ мнѣ показалось, съ меня одѣяло... Я открылъ глаза... и увидалъ, что старикъ сидитъ

на своей койкѣ и дергаетъ съ меня одѣяло. При этомъ онъ глядѣлъ на меня и улыбался своимъ ввалившимся ртомъ, въ которомъ на верхней челюсти необыкновенно страшно торчалъ одинъ желтый и длинный зубъ...

Было, очевидно, поздно, часа три утра, потому что всѣ больные спали... Лампа, хотя и убавленная, горѣла все-таки очень ярко, освѣщая во всей красотѣ этого удивительнаго старика...

— Сумасшедшій! — подумалъ я, испугавшись и спросилъ:—Ты что?

Онъ, вмѣсто отвѣта, провелъ рукой по бородѣ и бросилъ что-то на мою койку, глядя на меня своимъ бѣлесоватымъ, но на этотъ разъ не злымъ, какъ мнѣ показалось прежде, а какимъ-то „чуднымъ“, такъ сказать, необъяснимымъ и загадочнымъ взглядомъ.

— Сумасшедшій, — опять подумалъ я и сказалъ:—Что же это ты дѣлаешь?.. Зачѣмъ эту гадость кидаешь?..

— А!—какъ-то радостно заговорилъ онъ шепотомъ,—разозлился!.. Ну, ругайся... ну, бей меня!..

Говоря это, онъ глядѣлъ мнѣ въ глаза, и я невольно содрогнулся отъ этого взгляда: въ немъ было что-то страшное и невыразимо скорбное, что невольно заставляло содрогаться.

— Я вѣдь нарочно это! — опять заговорилъ онъ.—Я вотъ залаю еще... Я вѣдь не человѣкъ, а

песь, собака... паршивая собака... на которую помой лютъ...

Онъ пригнулся и, заглянувъ мнѣ въ лицо, опять засмѣялся.

Я совершенно не нашелся что сказать и только глядѣлъ съ удивленіемъ на его искаженное лицо.

— А хочешь, — снова началъ онъ, — я тебя ударю! А! фу ты, чортъ!..

Я опомнился.

— Что ты, съ ума, что-ли, сошелъ?.. отстаешь!..

Онъ откинулся головой на подушку и затрясся весь отъ своего противнаго принужденнаго хихиканья. Потомъ вдругъ опять сѣлъ и, переставъ хихикать, серьезно и тихо спросилъ:

— Ты обо мнѣ какого мнѣнія?

— Я тебя совсѣмъ не знаю, и поэтому не могу судить...

— Не знаешь?.. Гм! Да, вѣрно, не знаешь... А хочешь, я тебѣ расскажу одну исторію...

— Расскажи.

Онъ опять посмотрѣлъ на меня своимъ тяжелымъ взглядомъ, въ которомъ теперь стало мелькать какое-то сознательное и грустное выраженіе, и сказалъ:

— Про сына моего, Николенку...

Онъ потянулъ на себя одѣяло, усѣлся поудобнѣе, подумалъ что-то и сказалъ почти шепотомъ:

— Принеси мнѣ воды, сдѣлай милость, тамъ вонъ, подъ краномъ... Знаешь?

И взялъ кружку и принесъ воды... Онъ жадно отпилъ полъ-кружки и, откинувшись на подушку, закрылся по самую бороду одѣяломъ, оглядѣлся по сторонамъ, очевидно боясь, чтобы его, кромѣ меня, никто не услышалъ, и тихо, шепотомъ заговорилъ, наклонившись ко мнѣ:

— Сынъ у меня былъ... Николенька. И жена была. Славная.. И любила меня... Не вѣришь? правда... Да померла она, понимаешь?.. померла. А сынъ остался.. Ну, взялъ я его съ собой въ Москву... думалъ: вотъ моя цѣль жизни... душу за него отдамъ... выращу... человѣкомъ сдѣлаю... Эхъ, сколько думалъ я!.. Сколько думалъ я всего хорошаго!.. А жизнь-то, подлая, повернула по-своему... Ну, такъ вотъ, взялъ я его съ собой... Здѣсь, въ Москвѣ, мнѣ первое время посчастливилось: нашелъ мѣсто... сталъ жить... коморочка у меня была снята на Плющихѣ маленькая .. четыре рубля платилъ за нее... Самъ, бывало, уйду на занятія съ утра, а его, сыночка-то, оставлю одного... Попрошу только хозяйку приглянуть за нимъ... И сидитъ онъ, бывало, цѣлый день одинъ... Тихій былъ мальчикъ, задумчивый... уставится глазами на свѣтъ и смотреть... думаетъ тоже что-то... Говорить сталъ только къ концу третьяго года, да и то плохо... Гдѣ-жъ ему было учиться?..

одинъ все... все одинъ... Меня онъ звалъ „тятя“, „тятя миленькій“, а то еще „тятя путеня“... Что такое это значило „путеня“, я и сейчас не знаю...

Онъ пасунился, замолчалъ и, тряхнувъ головой, точно отгоняя что-то, продолжалъ:

— Все было ладно за эти три года, а тутъ пошло все какъ-то подъ гору... Съ мѣста прогнали... Осѣдлала меня нужда, облюбовала и поѣхала... Бился-бился, искалъ-искалъ мѣста— нѣтъ! нѣтъ, да и все! а вѣдь пить-ѣсть надо... О себѣ-то ужъ я не думалъ... Гдѣ ужъ! только бы его-то... его то только бы! Заложилъ все... оборвался... озлобился... въ трущобахъ жить, съ ребенкомъ-то, понимаешь? Чего только не натерпѣлся!.. Въ разные эдакіе пріюты обращался... Не берутъ нигдѣ: незаконный! Да и просить-то я путемъ не умѣлъ. Помню, разъ провелъ я ночь на Хивѣ, въ притонѣ одномъ... Всталъ рано... куда идти? Вышелъ на Солянку: „Николенька, говорю, куда-жъ намъ идти?“ А май мѣсяцъ стоялъ о ту пору... тепло было, весело, радостно... Пошелъ, куда глаза глядятъ... Его-то на рукахъ несу, то веду потихоньку за ручку... Долго Москвой шли... вышли за заставу... въ поле... посидѣли... отдохнули... Куда-жъ теперь? думаю... Взялъ его на руки. Держись крѣпче! Обхватилъ онъ меня рученками, головку на плечо положилъ и зашагалъ я... Лучше, думаю, гдѣ-нибудь въ деревнѣ из-

дохну, чѣмъ въ Москвѣ этой, проклятой... Отошелъ верстѣ десять... свернулъ въ сторону въ деревеньку... Прямо въ избу первую... Гляжу: баба одна хлѣбы мѣситъ... больше никого нѣтъ... „Тебѣ чего“? спрашиваетъ... Тетенька, говорю, дай Христа ради, мальчику моему молочка... Сполоснула она руки, сходила куда-то, тащитъ цѣлую кружку... Разговорились мы... Разказалъ я ей все, вотъ какъ тебѣ теперь... Подивилась она... пожалѣла... Подумала, подумала да и говорить: „Отдай намъ его со старикомъ въ сынки, худо не будетъ... Пойдешь, говорить, къ намъ, сынокъ, жить“?—это у него-то спрашиваетъ. А онъ, сынокъ - то мой, обхватилъ вдругъ меня да какъ вззоетъ... жметъ ко мнѣ... трясется весь... Первый онъ у меня былъ... О, Господи! Господи!..

Онъ оборвалъ свою рѣчь и долго сидѣлъ молча, тихо всхлипывая...

— Ну, понятное дѣло,—началъ онъ опять,—не отдалъ я его... Еще бы... отдать... Съ тѣхъ поръ началъ я съ нимъ вмѣстѣ ходить, бродяжничать... изъ деревни въ деревню... изъ села въ село... Случалось, гдѣ поработаю—заплатятъ, а то и такъ выпрошу... И вотъ, ей-Богу, скажу тебѣ, хорошее это время было... Загорѣли мы оба, мальчикъ мой пополнѣлъ даже... Идемъ, бывало, лѣсомъ... птички поютъ... листочки шелестятъ... Солнышко играетъ... Травка-муравка точно коверъ... хорошо!.. Сядемъ,

разговариваемъ.. Лепечеть онъ у меня... радуется ангелъ мой на муравья на каждого.. И у меня, глядя на него, сердце играетъ!.. Да только все это недолго было.. Недолго! Подошла осень.. пошли холода... дожди... грязь... Одежка на насъ плохая была... Ну и того... простудился онъ... сразу какъ-то его свернуло... шабашъ! стопъ машина!..

— Было это дѣло во Владимірской губерніи: рѣка тамъ есть Дубна, можетъ, слыхалъ? Такъ вотъ разъ, въ одно, такъ сказать, прекрасное утро шель я съ нимъ по берегу этой рѣки... На рукахъ его несъ.. больного... Да холодно было... вѣтряно... тоскливо... На душѣ у меня камень лежалъ.. ныло сердце, и все во мнѣ плакало лютыми слезами... Несу, несу его, послушаю: дышетъ? Слава Тебѣ Господи!—Николенька!—спрошу. „А“! откликнется. Не спишь? „Нѣтъ“. А кто съ тобой? „Тятя миленькій“... и жметъ, слышу, ко мнѣ... А гдѣ у тебя „бобо“? молчить... Несу, тороплюсь, думаю: скоро ли деревня, а деревни нѣтъ и нѣтъ, какъ на зло... Мѣста какія-то глухія, дикія... Усталъ... сѣлъ... его на колѣнки положилъ.. укутанъ онъ у меня былъ тряпьемъ разнымъ... открылъ тряпки посмотрѣть: не узналъ моего Николеньку: блѣдный, блѣдный.. губки трясугся, глазки большіе ввалились... слезки вънихъ, какъ росинки.. —Николенька!—говорю. „А!“ отвѣчаетъ.—Николенька... Господи, что съ тобой?! А онъ, а онъ, понимаешь, улыбнулся эдакъ жалост-

но, рученками хотѣлъ поймать меня за шею... да не смогъ... прошепталъ только: „тятя миленькій“, „путеня“ да и того... померъ!..

Онъ вдругъ опять оборвалъ рѣчь и полными ужаса глазами, молча, уставился на меня... Въ этихъ глазахъ опять проглядывало сумасшествіе...

— Да и померъ! да и померъ! да и померъ!— повторилъ онъ нѣсколько разъ, не спуская съ меня своего страшнаго взора... Я не выдержалъ и отвернулся отъ него. Когда я опять посмотрѣлъ на него, онъ лежалъ навзничъ и горько плакалъ. Я тронулъ его за плечо и сказалъ: Полно, полно!.. Онъ затрясся еще шибче отъ душившихъ его слезъ и, поднявъ голову, бессмысленно глядя на меня, залепеталъ, какъ ребенокъ, все одно и то же слово: „тятя, путеня, тятя путеня“...

Мнѣ стало страшно. Я взялъ кружку и опять подалъ ему воды... Онъ жадно, захлебываясь и икая, выпилъ воду и хотѣлъ было подняться, сѣсть, да не смогъ и, откинувшись на подушку, долго молчалъ, глядя „чудными“ глазами куда-то вдаль...

XXVI.

— Ваялъ я его тѣло,—вдругъ неожиданно и какимъ-то совсѣмъ другимъ голосомъ, точно плача, заговорилъ онъ,—и побѣждалъ отъ рѣки въ гору, въ лѣсъ... Зачѣмъ? Не знаю. Бѣжалъ, бѣжалъ...

споткнулся, упалъ... прямо на него... Тутъ ужъ я не помню, что было... Очнулся, тьма кругомъ... ночь непроглядная... и тишина мертвая, тупая, страшная... Вспомнилъ я все вдругъ—подкатилъ точно шаръ къ моему сердцу... Николенька, кричу, Николенька, гдѣ ты?! А самъ вѣдь отлично знаю, что мертвый онъ, а думаю: авось, Господь дастъ, отзовется... Да нѣтъ, не отозвался! Взялъ я трупикъ его... положилъ къ себѣ на колѣни... припалъ къ нему, да такъ и замеръ... И вся-то тутъ мнѣ моя горькая жизнь представилась! вся! И возропталъ я на Бога! За что, за что наказуешь?! За что отнял у меня то, что любилъ я?! За что, Господи!.. О!—воскликнулъ онъ страстно,—страшная это была ночь! Мучилась душа человѣчья, одинокая, никому-то, никому не нужная! истерзанная, жалкая!.. Лились никому-то, никому не видимыя, горькія слезы... Одинъ и мертвый сынъ на рукахъ... Понимаешь! Понимаешь ты это?. Есть на тебѣ крестъ... есть въ тебѣ Богъ... есть жалость—поймешь!... И дивное дѣло: какъ я не померъ тогда! какъ не задушилъ себя своими руками!..

Утро,—продолжалъ онъ, немного успокоившись,—застало меня надъ трупикомъ... мокрое утро, тоскливое, холодное... Что дѣлать? Ни денегъ похоронить его, ни одежды... Нѣтъ ничего.. Куда дѣтись съ нимъ.. объявить?.. придерутся... „Кто такой?“... „откуда?“... то, се... всю душу вымо-

таютъ... Думалъ, думалъ, да и рѣшилъ похоронить его самъ, безъ попа... Укуталъ тѣлице его тряпками, спряталъ подъ елкой, а самъ побѣжалъ въ деревню за заступомъ... Какъ мнѣ его удалось раздобыть?—не помню... Возвратился назадъ, походилъ по лѣсу, нашелъ мѣсто эдакое, глухое, тихое, печальное... Сталъ рыть яму... Рою и плачу, рою и плачу... Брошу рыть, подойду, загляну ему въ личико—лежить онъ и ничего-то, вичего не слышать, губенки полуоткрыты и зубки видны...

— Выкопалъ яму... наломалъ еловыхъ вѣтокъ, обложилъ ими все дно... чтобы, думаю, легче ему спать было... Вылѣзъ изъ ямы... О, Господи! оставили тутъ меня силы, палъ на колѣнки передъ нимъ: „Николенька, батюшка! ангель... прощай, прощай!.. Сынокъ мой! „путеня“.. прости меня!“ обхватилъ его въ охапку, опустился въ могилу... положилъ на вѣтки не навзничъ, а на бочокъ и самъ легъ съ нимъ... Полежу, думаю, въ останнй разокъ... Обезумѣлъ совсѣмъ: и молитвы читаю, и плачу... Какъ я простился съ нимъ,—не помню!.. Вылѣзъ изъ ямы... схватилъ заступъ, зажмурился и кинулъ землю... Слышу: ударилась... Напала тутъ на меня ярость, какая-то дикая, звѣриная... точно кто бьетъ меня по головѣ и кричить: „скорѣй, скорѣй, скорѣй“!..

Онъ замолкъ.

— Что-же дальше-то?—спросилъ я.

XXVI.

Черезъ нѣсколько дней его перевели куда-то внизъ, гдѣ онъ вскорѣ умеръ. Какъ-то разъ утромъ мы увидали въ окно изъ нашего третьяго этажа, что изъ больницы четверо рабочихъ на носилкахъ потащили куда-то черезъ дворъ его тѣло. Я отъ души пожалѣлъ его и отъ души пожелалъ ему всего хорошаго тамъ, „идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе“...

Его мѣсто рядомъ со мной занялъ другой субъектъ, совсѣмъ въ другомъ родѣ... Это былъ, пріобрѣтшій на Хивѣ обширную извѣстность, юродивый Петруша. Большинство „больныхъ“ изъ нашей палаты знало его хорошо. Это былъ загадочный человѣкъ, не то монахъ, не то странникъ... Волоса у него были черные, курчавые и длинные.. Лицо, опухшее, бѣлое.. Глаза черные, бойкіе, наглые... Походка кошки, крадущейся за мышью... Руки пухлыя, бѣлыя, съ короткими обгрызками, вмѣсто ногтей...

Благодаря этому „юродивому“, моя койка, а также и его превратились въ какой-то клубъ... Петруша былъ неистощимый рассказчикъ... Онъ нисколько не стѣснялся, чувствуя себя между „своихъ“, рассказывая про свои похождения, надувательства, пьянство и развратъ, пересыпая рѣчь

такими ругательствами, какими не ругается ни одинъ становой... Гомерическій хохотъ стоялъ каждый вечеръ около нашихъ коекъ... Чего только я не наслушался отъ этого человѣка!..

Въ больницу онъ попалъ послѣ сильнаго и долгаго пьянства, спустивъ съ себя все, затѣмъ только, чтобы послать отсюда письма съ просьбой о помощи „болящему и страждущему рабу Божьему Петрушѣ“...

На другой же день по поступленіи онъ настроилъ нѣсколько такихъ писемъ, послалъ и сталъ ждать „движенія воды“...

Въ первое же воскресенье „движеніе воды“ не замедлило сказаться: явились какія-то двѣ почтенныя матроны—матушки изъ монастыря.

Когда сообщили объ этомъ Петрушѣ, онъ какъ-то сразу преобразился изъ веселаго и здороваго въ согбеннаго, удрученнаго недугами старца... Походка, фигура, лицо, глаза, — все сдѣлалось другое. Сгорбившись, шлепая туфлями по полу, пошелъ онъ на лѣстницу, гдѣ его дожидались, и черезъ полчаса вернулся въ палату прежнимъ Петрушей, неся цѣлый узелъ „гостинцевъ“.

— Вотъ какъ наши кошельками-то машутъ!—весело крикнулъ онъ мнѣ, бросая узелъ на койку, — теперь заживемъ... Не тужи! Гляди сюда, — онъ протянулъ ко мнѣ руку и разжалъ кулакъ. На ладони лежалъ золотой въ пять рублей. — Ужо

можно въ картишки... Та, та, та... Съ нами Богъ, разумѣйте языцы... „Петруша, Петруша“... Дураки вы всѣ!..

Въ узлѣ, когда онъ развязалъ его, оказались: чай, сахаръ, булки, „монпасье“, двѣ банки съ вареньемъ и еще кое-что.

— Погоди,—сказалъ онъ,—ужо не то будетъ. Скоро „сама“ придетъ... Принесетъ добраго здоровьица...

Дѣйствительно, его скоро опять кликнули. Это оказалось, пришла „сама“, т. е. его, какъ онъ выразился, „дама сердца“, мать Ефросинья, съ которой онъ жилъ на Хивѣ и вмѣстѣ пьянствовалъ, пропивая заработанныя деньги“... Она принесла бутылку водки и двѣ четверки махорки..

— Ну, теперь я кумъ королю,—говорилъ онъ. смѣясь,—а дай-ко вотъ еще кой-куда настрочу,—не то будетъ... Со мной, рабъ Божій, сытъ и пьянъ будешь.. Ъшь, пей, не жалко.. Ъшь, чудакъ!..

Къ вечеру Петруша напился; ночью, играя въ карты, „проигралъ“ три рубля, а остальные отобрала у него нянька, съ которой онъ гдѣ-то на чердакѣ ночью, какъ самъ выразился, „говорилъ про божественное“...

— Сколько я этихъ бабъ на своемъ вѣку облапошилъ,—разсказывалъ онъ мнѣ вечеромъ, сидя на койкѣ и куря огромную „собачью ножку“,—такъ и счету нѣтъ... Дуры... ахъ! дуры есть изъ

нихъ!.. Ты что, рабъ Божій, знаешь? Меня за святого почитали.. Слѣдъ мой вынимали!..

— Какъ такъ?..

— А такъ... Гдѣ я вступлю „стопой“ своей, т. е. ножищей грязной, въ снѣгъ али тамъ въ грязь, сейчасъ это мѣсто, слѣдъ-то и вынуть... Коли снѣгъ,—растопятъ и пьютъ, ну, а ужъ грязь куда идетъ — не знаю... Ха, ха, ха... А то, бывало, за полы меня ловятъ, подрысникъ цѣлуютъ... Ей-Богу, не вру!.. „Петруша, Петрушенька, Петруша!“... ахъ! провались вы всѣ, дуры анаѣемскія!

-- А то разъ со мной какой случай былъ: стоялъ я у Большого Вознесенія въ Елоховѣ... товарищъ со мной былъ, о. Досиѣей... пьяница, чортъ, страсть! Ну, отошла обѣдня... вижу: идетъ купчиха брюхатая... Я это сейчасъ подскочилъ на одной ножкѣ: „мальчика родишь! мальчика, мальчика“!.. Ну, подала она мнѣ „Помолись за рабу Божью Евдокію, Петруша“... А я опять: „мальчика родишь! мальчика, мальчика“!.. Вдругъ слышу, спрашиваетъ меня сзади кто-то: „А я кого рожу“?.. Я съ дуру-то не разобралъ, думалъ это мой Досиѣей смѣется, да и ляпнулъ: чорта!.. Оглянулся, — хватъ—приставъ! Вотъ такъ клюква!.. Ха, ха, ха!..

— А то еще разъ я княгиню облапошилъ. Домъ у ней свой насупротивъ Храма Спасителя... Возшелъ въ ворота на дворъ: гляжу—клумбы... цвѣты растутъ... Княгиня на балконѣ сидитъ... Я это сей-

часть скокъ, скокъ... подбѣгу къ цвѣточку, поцѣлую его, къ другому... Увидала княгиня: „кто такой“?... Бѣжить горничная ко мнѣ: „кто ты?“ а я: „Петруша, Петруша, матушка, Петруша, рабъ Божій! Спаси Господи“!.. Сейчасъ меня, раба Божьяго, къ самой... Въ комнаты ввели... Палаты -- страсть!.. „Ахъ, Петруша, Петруша, я больная... Сердце болитъ“... — Молись, матушка, молись, молись. „Покушать, Петруша, не хочешь-ли“? — Сухарика, матушка, съ водицей... сухарика, сухарика... Спаси Господи! А самъ хожу по угламъ: въ одинъ плюну, въ другой дуну... Думаю... какъ бы мнѣ... того... улизнуть... — „У отца Ивана Кронштадтскаго бываешь ли, Петруша“?... — Какъ же, какъ же, матушка, недавно отъ него... недавно, недавно... сподобился... благословилъ меня къ Преподобному Сергію... иду, матушка, на дняхъ... „Ахъ, Петруша, помолись за меня грѣшную“ — Помолюсь, матушка, помолюсь... Не будетъ ли жертва какая — преподобному... за упокой родственниковъ?... — „Ахъ какъ же, Петруша, будетъ, будетъ!“ Ну, думаю, мнѣ это-то и надо... Сѣла къ столу, написала что-то на бумажкѣ, достала денегъ, сунула все въ конвертъ, даетъ мнѣ. — Спаси Господи, матушка, спаси Господи!.. Подастъ тебѣ Господь... молись, молись... Я тебя еще навѣщу въ скорби твоей... „Ахъ, навѣсти, Петруша!“ Ну, выпелъ я это на дворъ, глядь: дворникъ, повара, кучеръ. горничныя ко мнѣ: „Петруша, Петруша, скажи

намъ, скажи намъ... благослови"!.. Лѣзутъ ко мнѣ... въ уголъ прижали у воротъ... Ахъ, дери васъ чортъ! думаю, а самъ гляжу за ворота нѣтъ ли гдѣ, спаси Богъ, пристава, либо городского... Насилу вырвался... одолѣли.. Нанялъ извозчика, на Хиву... Посмотрѣлъ въ конвертъ-то, а тамъ 75 бумажекъ.. Ловко а?.. Вотъ какъ дѣла-то обдѣлываемъ, не по вашему... Почудилъ, рабъ Божій, я на своемъ вѣку!..

— Да вѣдь грѣхъ, — сказалъ я ему какъ-то разъ. — Стыдно Божьимъ именемъ людей морочить.

— Эхъ!—сказалъ онъ, подумавши. и махнулъ рукой.—Дураковъ и въ алтарѣ бьютъ... Наплевать!.. все одно ужъ горѣтъ въ аду. такъ горѣтъ... А можетъ это и пустое, адъ-то?.. Помремъ, увидимъ... Наплевать! Живи, пока Богъ грѣхамъ терпитъ... Эхъ-ма!.. ходи веселѣй!..

И, подобравъ полы халата, онъ началъ выдѣлывать ногами уморительныя па, при всеобщемъ хотѣ „больныхъ“...

XXVII.

Былъ и еще человѣкъ, потѣшавшій нашу палату разсказами и пользовавшійся, подобно Петрушѣ, завиднымъ авторитетомъ. Это былъ, какъ онъ называлъ себя, „вѣчный стрѣлокъ“, по имени Григорій Дурасовъ, прошедшій, какъ говорится, огонь и воду и мѣдныя трубы.

Небольшого роста, крѣпкій, съ бойкими, умными глазами, живой и ловкій, онъ никогда ни передъ чѣмъ не задумывался... Чего-чего только онъ ни перевидалъ и ни перетерпѣлъ на своемъ вѣку!.. Его рассказы были необыкновенно живы, правдивы и интересны. Какой-нибудь пустой случай онъ умѣлъ такъ освѣтить и передать съ такимъ юморомъ и правдой, что невозможно было не смѣяться... Память у него была просто таки феноменальная. Впрочемъ, онъ рассказывалъ не только о своихъ приключеніяхъ и походахъ, но передавалъ чуть не слово въ слово большіе рассказы и даже романы. При мнѣ, напримѣръ, онъ въ теченіе нѣсколькихъ вечеровъ занималъ насъ передачей одного романа, печатавшагося (подъ заглавіемъ „Буря въ стоячихъ водахъ“) въ газеткѣ „Московскій Листокъ“.

Въ палатѣ онъ пользовался почетомъ. Его даже боялись: тому, кто связывался съ нимъ, приходилось солоно отъ его остраго, какъ бритва, языка. На его койкѣ устраивался по ночамъ „майданъ“, т. е. картежная игра на деньги. У него постоянно можно было купить махорки, бумаги, яицъ, „воробья“, пайку ситнаго хлѣба...

Чѣмъ онъ былъ боленъ — неизвѣстно. Вѣрнѣе всего — ничѣмъ. Онъ просто „отлеживалъ“ глухое зимнее время.

— Вотъ какъ прилетятъ жаворонки,—говорилъ

онъ какъ-то разъ собравшимся слушателямъ, — и мы полетимъ... И все у насъ будетъ... чаекъ и баночки! Здѣсь, что-ли, оставаться? Это вы, дураки, корпите, а я уйду... Я каждый день, ничего не дѣлая, сорокъ-то копѣекъ добуду... Вольный казакъ! Куда хочу —туда иду. Захотѣлъ отдохнуть —отдыхай... никто надъ душой не стоитъ... работать не стану... За шесть-то цѣлковыхъ въ мѣсяцъ — была нужда... Награждай ихъ, чертей, съ дуру-то. Сиди, какъ сычъ, гдѣ-нибудь въ подвалѣ... А на волѣ-то благодать, рай!.. Птицы поютъ и ты поешь!.. Кормить мнѣ некого... одинъ... женой не обвязался... Сумку за спину, палку въ руки, —пошелъ оброкъ собирать—любо!..

Что-жъ ты, Григорій, не женился?—спросилъ кто-то.

— Зачѣмъ? Нашему брату жениться нельзя, —баба любить гнѣздо, а нашъ братъ волю... Летѣть куда-нибудь... На одномъ мѣстѣ не усидишь, —мохомъ обростешь... Чужой вѣкъ заѣдать —жениться-то. Моя жена—воля, крыша небушко... И ничего мнѣ больше не надо.

— Такъ всю жизнь ходить и будешь?

— Такъ и буду... Пойду, пойду, авось до смерти дойду... Дойду до смерти, вотъ и женюсь тогда... Такъ-то, други милые... Ну, кто хочетъ въ пашки на воробья?!

XXVIII.

Въ палатѣ „лежали“ два мальчика, по здѣшнему, „малывки“, которые особенно интересовали меня. Одинъ изъ нихъ, „Сергунька“, про котораго мнѣ рассказывали въ спальнѣ, былъ хорошенькій, лѣтъ 14-ти круглолицый и краснощекій мальчикъ. Другой, Васька, былъ совсѣмъ въ другомъ родѣ: худенькій, черный, какъ жукъ, злой и сварливый,—онъ производилъ очень непріятное впечатлѣніе.

Оба они старались изображать изъ себя большихъ. Оба курили, пили водку, играли въ карты, ругались гадкими словами... У нихъ постоянно водились деньжонки, не переводилась махорка, яйца, ситный... Въ карты они играли съ особеннымъ азартомъ. Странно было видѣть ихъ дѣтскія лица ночью, при тускломъ свѣтѣ лампы, среди завзятыхъ, отчаянныхъ картежниковъ... Какія-то особенно-отвратительныя манеры были у нихъ во всемъ. Курить-ли, напимѣръ, одинъ изъ нихъ, то папироску держать въ углу рта, на бокъ, безпрестанно сплевываетъ, безпрестанно ругается самыми гадкими словами...

Но это еще сравнительно ничего... Ужасно было смотрѣть на нихъ пьяныхъ... Вся грязь, гадость, развратъ Хивы, всосались въ нихъ, какъ вода въ губку... Ничего дѣтскаго, никакого проблеска неопосредственности, свойственной дѣтскому возрасту...

— Сергунька,—спросилъ я какъ-то разъ,—зачѣмъ ты, дуракъ, водку пьешь? вѣдь гадко!

— Ступай ты къ чорту,—отвѣтилъ онъ,—учитель какой!.. А у самого на папироску махорки нѣтъ... Тоже людей учить... Ты поглядѣлъ бы на меня, какъ я въ именины налакался... Ахъ, здорово!

— Малъ ты еще, братъ...

— Малъ да умень... Даѣ-ка вотъ вырасту... ахъ!..

— Ну, что тогда?

— Богать буду!

— А гдѣ возьмешь?

— Достану!

— Никто такъ не дастъ.

— Да ужъ достану... Мнѣ наплевать, все едино придушу какого-нибудь чорта!..

— Въ деревнѣ у тебя есть родные?

— А на кой они мнѣ?!

— Въ деревнѣ-то лучше.

— Лучше... сказалъ!.. тамъ и жрать-то нечего... Здѣсь-то и водочка, и дѣвочки... все!

— Какія дѣвочки?

— Какія?.. костяныя да жильныя!.. дуракъ ты... Ну, дѣвки!.. Не знаешь, что-ли?.. Да что съ тобой говорить-то.. ступай къ чорту!..

Съ другимъ мальчикомъ Васькой у меня произошелъ небольшой инцидентъ: на шеѣ у меня

висѣлъ вмѣстѣ съ крестомъ небольшой деревянный, въ серебряной вызолоченой оправѣ образокъ, который на меня надѣла, умирая, матушка... Онъ былъ мнѣ очень дорогъ. Увидѣвъ его какъ-то у меня на груди, Васька сейчасъ-же справился: сколько онъ стоилъ и какая на немъ оправка?.. Я сказалъ, что серебряная, вызолоченная и совсѣмъ забылъ про это, думая, что онъ спросилъ объ этомъ изъ простаго любопытства... Оказалось, однако, хуже.

Какъ-то разъ ночью, сквозь сонъ, услыхалъ я, что меня кто-то какъ будто дергаетъ за шнурокъ на шеѣ. Я проснулся и открылъ глаза. Гляжу: сидитъ на корточкахъ передъ койкой Васька и тихонько пиликаетъ ножомъ шнурокъ. Въ первую минуту я испугался и сдѣлалъ невольное движеніе. Замѣтивъ, что я гляжу на него, мальчикъ, какъ кошка, прыгнулъ въ сторону и, согнувшись, быстро побѣжалъ около коекъ на свое мѣсто... Я вскочилъ и бросился за нимъ. Онъ успѣлъ уже лечь на свою койку, закрыться одѣяломъ и притвориться спящимъ. Я отдернулъ одѣяло и сказалъ:

— Ты что же это, негодяй, дѣлаешь?

Онъ сдѣлалъ видъ, что не понимаетъ, и, сѣвъ на койкѣ, сталъ протирать рукой глаза.

— Не притворяйся, — крикнулъ я и дернулъ его за руку.

— Да ты что пристаешь!—въ свою очередь закричалъ онъ.—Я доктору скажу... зачѣмъ лѣзешь?..

— Ты сейчасъ у меня образокъ срѣзывалъ.

— Образокъ! какой образокъ?.. Караулъ!! — вдругъ громко закричалъ онъ и этимъ крикомъ разбудилъ своего сосѣда и еще нѣсколько человѣкъ.

— Что за чортъ?—спросилъ сосѣдъ,—чего ты орешь?

— Да какъ же,—заговорилъ Васька, показывая на меня и вдругъ заплакалъ,—присталъ ко мнѣ... разбудилъ... сталъ безобразничать... Теперь говорить, что образъ, вишь, я у него укралъ какой-то... Я доктору скажу... ей-Богу, скажу! батюшки, родимые, что-жъ это такое? воромъ меня сдѣлалъ. О-о-охъ... доктору скажу... глазеньки мои лопни. скажу...

Видя, что дѣло приняло такой оборотъ, я плюнулъ и пошелъ на свое мѣсто...

— Самъ воръ!—неслось мнѣ вслѣдъ:—золотая рота... абармогъ!.. кашу сюда пришелъ жрать казенную!..

Утромъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, подошелъ ко мнѣ и сказалъ, подавая „собачью ножку“:

— На, курни, чортъ. Впередъ умяѣ будь... не лѣзь... на все знай время... зря-то тоже это дѣло не дѣлается.

.

Три недѣли пролежалъ я въ больницѣ, и эти три недѣли показались мнѣ за три года...

Письмо я послалъ на третій же день по поступленіи и сталъ ждать отвѣта... Отвѣтъ пришелъ только по прошествіи трехъ недѣль и такой отвѣтъ, котораго я не ожидалъ.

Какъ-то разъ, рано утромъ, слышу я вдругъ, кличутъ меня по фамиліи... Поднимаю голову, — гляжу и глазамъ своимъ не вѣрю: въ дверяхъ стоитъ сестра!

.

Она увезла меня въ деревню.

ПО ЭТАПУ.

(Наброски).

„Холодна въ синемъ морѣ
волна,

И глубоки пучины морскія;
Но еще холоднѣй глубина,
Гдѣ таятся страданья людскія“.

Шелли.

I.

— Клинь, Дмитровъ, Волоколамскъ! — пронзительно громко, какимъ-то дрожаще-звонкимъ голосомъ закричалъ старшій конвойный солдатъ, войдя въ нашъ „этапный“, биткомъ набитый народомъ, вагонъ.—Петровъ, Крысинъ!..

Я не спалъ. Я ждалъ этого окрика отъ самаго Петербурга... Необыкновенно тяжело, гадко и грустно было на душѣ. Нервы натянулись и дрожали, какъ струны...

— Петровъ, Крысинъ!—еще громче крикнулъ конвойный.

Я вскочилъ и отвѣтилъ:

— Здѣсь.

— Ты—Петровъ?..

— Я.

— Чего-жъ ты молчишь, чортова голова, а?! Въ морду захотѣлъ, что-ли?! А Крысинъ гдѣ? Крысинъ! Эй, Крысинъ!

— Здѣсь! Я Крысинъ!—отозвался съ противоположнаго темнаго конца вагона голосъ, и вслѣдъ за нимъ по узкому проходу, спотыкаясь и шагая черезъ валявшихся по полу людей, вошелъ въ полосу свѣта и остановился передъ конвойнымъ старикъ, высокаго роста, широкоплечій, съ крупными чертами лица, могуче сложенный, съ длинной по поясъ, сѣдой бородой.

— Ты—Крысинъ?

— Я.

— Чего-жъ ты... чортъ!.. Заснулъ?.. Къ женѣ на печку пришелъ, что-ли?.. Сво-о-о-о-лочъ!.. Готовьтесь, — добавилъ онъ, зѣвая во весь ротъ,— слѣзаетъ вамъ въ Клину.

Онъ повернулся и ушелъ въ другое отдѣленіе.

Я сѣлъ на свое старое мѣсто. Старикъ, назвавшійся Крысинымъ, постоялъ, что-то думая, свернулъ курить и сѣлъ рядомъ со мной на полу, въ проходѣ между скамеекъ.

— Тебя куда гонять? — спросилъ онъ, дымя махоркой.

Я сказалъ и въ свою очередь спросилъ:

— А тебя?..

— Меня тоже туда...—отвѣтилъ онъ и, помолчавъ еще, спросилъ:—ты кто? крестьянинъ... мѣщанинъ?..

— Мѣщанинъ.

— Гм!.. Ну значить, намъ съ тобой вмѣстѣ путешать. На. кури!..

Онъ передалъ мнѣ окурокъ и, отвернувшись, глубоко задумался, обхвативъ голову руками, скорчившись своимъ длиннымъ тѣломъ въ дугу и упершись локтями въ колѣнки согнутыхъ ногъ...

II.

Старый, потемнѣвшій отъ копоты, съ маленькими оконцами, задѣланными желѣзными рѣшетками вагонъ, былъ переполненъ людьми..

Было душно, смрадно, полутемно...

Всюду: на лавкахъ, подъ лавками, въ проходахъ на полу, валялись, какъ полѣнья дровъ, и спали арестанты. Свѣтъ отъ фонаря казался какимъ-то туманнымъ пятномъ... По временамъ мелькали по стѣнамъ и потолку какія-то фантастично-причудливыя тѣни... Подъ поломъ вагона гудѣли колеса по стыкамъ рельсъ, равномерно и назойливо-однообразно пощелкивая, какъ маятникъ у часовъ: тикъ, такъ! тикъ, такъ!.. Не плотно прикрытая дверка фонаря дребезжала и тряслась.

какъ больная лихорадкой, то на время замолкала то снова еще шибче принималась вздрагивать и трястись... Стонъ, скрипъ зубами, отдѣльные вскрикиванья, удушливо-тяжелый несмолкаемый храпъ, гулъ колесъ, темная долгая ночь...

Я сидѣлъ, поглядывалъ время отъ времени на своего будущаго товарища по пѣшему хожденію, и передо мной, подъ однообразно-назойливое постукиванье и шумъ колесъ, вставали и плыли тяжелыя картины... Я снова съ ужасомъ переживалъ все то, что видѣлъ и что было со мной за послѣднее время...

III.

А было вотъ что.

Дойдя до послѣдней степени нищеты, голодный, холодный, не имѣя возможности выбратся какимъ бы то ни было путемъ на родину и страстно желая этого, я рѣшился, откинувъ стыдъ въ сторону, попроситься на „вольный этапъ“...

Ухватившись за эту мысль, я уничтожилъ свой паспортъ и, придя раннимъ утромъ въ канцелярію градоначальника, подалъ прошеніе о томъ, чтобы меня отправили на родину „вольнымъ этапомъ“. Прошеніе мое приняли, посмѣялись, что меня безпаспортнаго отправили бы и безъ прошенія, — и велѣли придти „завтра“...

Переночевавъ въ какой-то трущобѣ или, вы

ражаясь языкомъ петербургскихъ босяковъ, „на гопъ“, гдѣ-то на Боровой улицѣ, раннимъ утромъ, на другой день, я снова явился въ канцелярію, и меня сейчасъ же, не задерживая, отправили съ городовымъ въ Спасскую часть.

На улицахъ было холодно и вѣтряно. Хорошо и тепло одѣтый городской, не торопясь, шелъ по панели, а мнѣ велѣлъ идти около, по мостовой...

Попадавшіеся навстрѣчу люди глядѣли на меня, какъ мнѣ казалось, одни съ презрѣніемъ, другіе съ состраданіемъ. Какая-то закутанная въ клѣтчатую шаль женщина, съ корзинкой въ рукѣ, вѣроятно кухарка, возвращавшаяся съ рынка, перекрестилась и торопливо сунула мнѣ въ руку пятакъ.

— Сколько? — спросилъ городской, косясь на меня.

— Пятачокъ.

— Давай, куплю папиросъ „Голубку“.

Онъ взялъ въ лавочкѣ папиросъ, далъ мнѣ одну, а остальные положилъ за рукавъ шинели и сказалъ:

— Кури пока... Тамъ вашему брату курить не полагается...

— А остальные?—спросилъ я.

— На кой онѣ тебѣ?! Помалкивай, небось!..

Придя въ часть, мы вошли по лѣстницѣ въ комнату, гдѣ сидѣли и что-то писали двое: одинъ

съ бородой, постарше, другой безъ бороды, помоложе.

Городовой передалъ имъ какую-то бумагу, объяснилъ, въ чемъ дѣло, и ушелъ...

Господинъ, помоложе, спросилъ мое имя, фамилію, званіе, откуда я родомъ, и послѣ этого, подойдя ко мнѣ, началъ съ необыкновенно серьезнымъ видомъ ощупывать и шаривать меня со всѣхъ сторонъ, ища чего-то... Продѣлавъ это и не найдя ничего, онъ кликнулъ солдата.

— Отведи его!—сказалъ онъ, кивнувъ на меня, и, закуривъ папирску, добавилъ:—На родину захотѣлъ, гусь-то... по охотѣ.. хи, хи, хи!.. ну, что-жь, пусть попробуетъ...

— Пожалуйте, господинъ. — ухмыляясь и шевеля, какъ котъ, щетинистыми подстриженными усами, сказалъ солдатъ и повелъ меня изъ этой комнаты въ помѣщеніе для арестантовъ, назначенныхъ къ пересылкѣ.

Поднявшись по лѣстницѣ на другой этажъ, солдатъ остановился на площадкѣ, около плотно запертой двери и позвонилъ. Застучали какіе-то засовы, дверь отворилась, и мы вошли въ узкій, высокій, страшно длинный полутемный корридоръ. Лѣвая сторона этого корридора представляла сплошную глухую стѣну... Въ другой стѣнѣ, на извѣстномъ разстояніи одна отъ другой, виднѣлись двери, съ маленькими оконцами-„глядѣлками“ посрединѣ.

Двери эти то и дѣло отворялись, и изъ нихъ выходили и входили какіе-то странно одѣтые люди. Люди эти сновали и по корридору туда и сюда, точно одурѣвшіе бараны...

Мнѣ приказали идти въ камеру и быть тамъ, пока не потребуютъ. Я отворилъ первую дверь, вошелъ и остановился въ испугѣ, пораженный общимъ видомъ камеры.

Въ камерѣ трудно дышалось протухлымъ, необыкновенно тяжелымъ воздухомъ; отъ скользкаго, обшарканнаго ногами пола, заплеваннаго и загаженнаго, несло сыростью и какой-то кислятиной... Свѣтъ, проникавшій сквозь огромныя за чугунными рѣшетками окна, былъ похожъ на туманъ или дымъ. Вся обстановка и лица людей, благодаря этому свѣту, принимали какой-то сѣрый, печально-испуганный видъ...

Мѣсть свободныхъ не было... Всюду: на деревянныхъ нарахъ, занимавшихъ средину камеры и шедшихъ вдоль стѣнъ, а также подъ нарами и въ проходахъ лежали, сидѣли, стояли и ходили люди...

Не смолкавшій ни на минуту общій гулъ и ревъ множества человѣческихъ голосовъ наполнялъ огромное помѣщеніе, нагоняя на душу безотчетный страхъ и щемящую тоску...

Думалось почему-то, что вотъ-вотъ все: эти

сѣрыя стѣны, и окна, и люди, провалятся и полетятъ куда-то въ преисподнюю...

IV.

Постоявъ около двери и нѣсколько освоившись съ общимъ видомъ камеры, я сталъ искать глазами мѣстечка, гдѣ бы приткнуться, посидѣть... Мѣстечко отыскалось тутъ же, неподалеку отъ двери, около огромной печи, на полу... Я пробрался туда и потихоньку сѣлъ, боясь, какъ бы не зацѣпить и не разбудить лежавшаго на полу навзничъ и тяжело храпѣвшаго высокаго, сѣдобородаго, косматаго человѣка, съ огромнымъ распухшимъ носомъ. Онъ храпѣлъ, вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ и бормоталъ во снѣ ругательства.

Я сѣлъ около него, прислонился спиной къ стѣнѣ и сталъ смотрѣть и слушать...

Люди, молодые и старые, симпатичные и наглые, грязно и бѣдно одѣтые, безъ всякаго дѣла, ругаясь и крича, бродили по камерѣ, какъ мухи лѣтнимъ днемъ бродятъ цѣлой тучей по столу въ душной и старой крестьянской избѣ...

Входная дверь отворялась и хлопала безпрестанно... Около этой двери на полу стояла не подтертая еще зловонная лужа. Лужа эта образовалась, очевидно, изъ переполненной за ночь „парашки“.

Какой-то молодой малый, худой, какъ скелеть, въ клѣтчатыхъ набойчатыхъ порткахъ и въ ситцевой „бѣлорозовой“ рубашкѣ, безъ пояса, съ разстегнутымъ воротомъ, босой, съ грязными, точно въ червилахъ, подошвами ногъ, лежалъ лицомъ кверху, около самой лужи, раскинувъ по сторонамъ руки, и крѣпко спалъ, широко открывъ ротъ... Рядомъ съ нимъ сидѣлъ, скорчившись, тоже совсѣмъ еще молодой парень въ деревенской поддевкѣ и въ валенкахъ и плакалъ, утираясь рукавомъ поддевки.

Я долго глядѣлъ на этого парня, и мнѣ стало жаль его.

„О чемъ онъ думаетъ? О чемъ плачетъ“?..

Мнѣ хотѣлось поговорить съ нимъ и не хотѣлось встать изъ боязни потерять мѣсто. Но вотъ онъ пересталъ плакать, поднялся, почесалъ обѣими руками голову и взглянулъ на меня. Я воспользовался этимъ и поманилъ его рукой. Онъ робко, неуклюже, какъ медвѣдь, шлепая сырыми подошвами подшитыхъ валенокъ, подошелъ ко мнѣ и остановился, моргая опухшими красными глазами.

— Присядь, землячекъ,—сказалъ я, потѣснившись въ сторону.

— А тебѣ что?—спросилъ онъ и присѣлъ передо мной на корточки.

— О чемъ это ты ревѣлъ?—спросилъ я.

Онъ засопѣлъ носомъ и еще шибче заморгаль глазами.

— Заревешь здѣсь,—началь онъ хриплымъ голосомъ,—обокрали меня!..

— Какъ такъ?..

— Какъ?.. Очень просто! Вотъ была здѣсь у меня въ полѣ трешница зашита... уснулъ ночью... проснулся—нѣтъ!.. вырѣзали ножомъ... точно ко-рова языкомъ слизнула...

— Не слыхалъ?..

— Гдѣ слышать!.. жулье тутатко... ловкачи!..

— А ты какъ же попалъ сюда?..

— Сдуру и попалъ... Прямо отъ своей глупости... Научили меня... Я, видишь-ли, добрый человекъ, пятый мѣсяцъ въ Питерѣ болтаюсь безъ дѣла. Прожился, проѣлъ все... А тутъ, хватъ, изъ дому письмо пришло: пріѣзжать велятъ немедленно... Братъ, вишь ты, дѣлиться таютка задумали... Я туды... я сюды... какъ быть?.. А мнѣ не близкой свѣтъ домой-то... въ Орловскую губерню... не мутовку облизать уѣхать-то туда... Ну, и посовѣтовалъ мнѣ одинъ человекъ на этапъ попроситься... „Доставятъ, байтъ, за милую душу“... Ну, я съ дуру-то и послушай... Трешницу-то мнѣ землякъ далъ. Я ее и зашилъ въ полу, думалъ: годится дома... Анъ вотъ те годится!.. Шестыя сутки здѣсь вотъ, какъ въ котлѣ киплю... Не приведи Богъ здѣсь и быть-то!..

— Плохо?

— Сибири!.. Нашего брата замѣсть собакъ почитаютъ... Узнаешь самъ: каторга, сичасъ издохнуть...

— Да что-жъ тебя такъ долго не отправляютъ?

— А песъ ихъ знаетъ!.. Партію, вишь ты, подгоняютъ, канплектъ... Отседова, бають, въ тюрьму еще погонять... Тамотка, гляди, просидишь день пять, а то болѣ... пока этапъ наберутъ на Москву.

„Ну, ну, — подумалъ я, слушая его, — дѣло-то плохо“!

— А вѣдь я тоже, землякъ, не плоше тебя по вольному этапу иду,—сказалъ я ему.

— Дуракъ, значить, и ты вышелъ!—сказалъ онъ и, помолчавъ, продолжалъ: — Вѣришь Богу, измаялся я здѣсь... обовшивѣлъ... Въ тюрьму бы ужъ, что-ли, скорѣй гнали... Тамотка, бають, много лучше здѣшняго... Здѣсь ни поѣсть, ни уснуть... Собака, сичасъ провалиться, и та сытѣй!.. Дадутъ тебѣ пайку хлѣба съ фунтъ, хотъ гляди на нее, хотъ ѣшь, какъ хошь... Похлебки принесутъ—собака сбѣсится... Да и той, коли успѣлъ ложки три хлебнуть—говори слава Богу... Такъ-то плохо и не приведи, Царица Небесная!..

Онъ хотѣлъ разсказать еще что-то, но не успѣлъ, потому что въ это время проснулся лежавшій на полу рядомъ со мною человѣкъ.. Проснувшись, онъ уставился на меня огромными съ

кровяными бѣлками глазищами и зарычалъ какимъ-то сдавленно-сиплымъ басомъ:

— Ты откуда взялся, а?.. Какого ты чорта развалился здѣсь, какъ дома на печкѣ?.. Мѣсто-то твое, что-ли?.. Здѣсь, братъ, давнымъ давно занято... Убирайся-ка, братъ, къ... пока цѣль!..

— А ты купилъ его, что-ли?—спросилъ я.

— Купилъ... стало быть, купилъ!.. Поговори еще, сѣрый чортъ...

Парень въ поддевку поднялся и, дернувъ меня за рукавъ, сказалъ:

— Пойдемъ, землякъ, курнемъ... Не связывайся!..

Я поднялся и пошелъ за нимъ. Онъ вышелъ въ корридоръ и, пройдя его весь, свернулъ влѣво и отворилъ дверь въ отхожее мѣсто.

Смрадная, вонючая комната была переполнена. Въ углу топилась печка... Къ этой печкѣ то и дѣло подсакивали люди закурить... Курили не всѣ... курили счастливыцы... Большинство, съ какой-то особенной жадностью, ожидало, когда курящiе кинутъ обмусленный окурокъ на вонючiй полъ, чтобы броситься къ нему, схватить и жадно, обжигая губы, затянуться разъ-другой...

Табакъ здѣсь, какъ я потомъ узналъ, цѣнился страшно дорого, потому что курить запрещалось и пронести его съ воли было трудно. Мой парень

пронесъ его, какъ оказалось, подъ тульей своей деревенской шапки и берегъ, какъ святыню.

Не успѣли мы покурить, какъ по корридору раздался крикъ: „За хлѣбомъ! За хлѣбомъ“!..

— Пойдемъ скорѣй! — сказалъ парень, — сейчасъ хлѣбъ принесутъ... раздавать станутъ...

Мы побѣжали съ нимъ по корридору въ нашу камеру.

Въ камерѣ все всполошилось. Спавшіе подъ нарами повскакали и вылѣзли оттуда, грязные, оборванные, страшные... Всѣ лѣзли и толкались къ двери... Что-то дикое, злое и вмѣстѣ жалко-униженное чувствовалось въ этой толпѣ голодныхъ людей...

Вскорѣ принесли въ большихъ бѣлыхъ корзинахъ хлѣбъ и начали не раздавать, а прямо-таки швырять „пайки“ какъ попало, точно голоднымъ собакамъ на псарнѣ куски конины...

Люди, съ возбужденными, красными или блѣдными лицами, съ широко открытыми глазами, толкаясь, ругаясь скверными словами, лѣзли къ корзинамъ и хватали хлѣбъ съ такой жадностью, что страшно было глядѣть.

Схвативъ кое-какъ свой „пакъ“, я отошелъ къ окну и сѣлъ на подоконникъ, ожидая, что будетъ дальше.

Около меня и кругомъ толкалась, шумѣла, орала толпа, такъ, что голова шла кругомъ и му-

тилось въ глазахъ. Вдругъ какой-то, какъ я замѣтилъ, молодой, черноволосый, въ одной рваной рубахѣ малый выхватилъ у меня изъ рукъ мой „наекъ“ и прежде, чѣмъ я успѣлъ что-либо сдѣлать, нырнулъ подъ нары и скрылся. Видѣвшіе это близъ стоявшіе люди подняли меня на смѣхъ.

— Ворона!.. деревня!.. эхъ ты, разинулъ хлебо-во-то!.. — слышалось кругомъ, — ха-ха-ха!.. Вотъ такъ ловко! губа толще—брюхо тоньше... Дураку наука... дураковъ и въ алтарѣ бьютъ...

Я всталъ и отошелъ отъ этого мѣста на другое, подальше. Тяжело было у меня на душѣ. Прямо-таки хотѣлось плакать. Вся эта обстановка: грязь, вонь, крики, злоба—давили и терзали сердце мучительной, нестерпимой болью...

— Эй, родной! а, родной! слышь... землякъ!— услыхалъ я позади себя голосъ и, оглянувшись, увидалъ, что меня кличетъ какой-то сидящій на краю наръ, небольшой сѣдобородый, плѣшивый старикашка.— Ты чего-жѣ это ходишь безъ хлѣба-то?—продолжалъ онъ, оглядывая меня. — Аль не хощь получать? ступай, бери, а то опоздаешь...

Я подошелъ къ нему и raccontalъ то, что сейчасъ только что случилось со мной.

— Экой грѣхъ-то какой, — сказалъ онъ, — ну народъ!.. Точно, прости Господи, псы.. изо рта кусокъ рвутъ!.. Какъ же тебѣ быть-то?.. Ты купилъ бы, а?.. у кого ни на есть...

— А гдѣ деньги-то?..

— Нѣту?.. ну, можетъ, еще что есть... Я-бъ те продалъ пайку...

— Да у меня нѣтъ ничего...

— Изъ одежды, можетъ, что... жилетки нѣтъ-ли?..

— Вотъ что есть у меня,—сказалъ я, доставъ изъ кармана листовъ шесть сложенной чистой, какъ-то уцѣлѣвшей у меня бумаги,—больше ничего нѣтъ...

— А ну-ка, покажь!..

Онъ взялъ бумагу, осмотрѣлъ внимательно каждый листикъ и, опять сложивъ, какъ было, сказалъ, передавая ее мнѣ:

— Много-ль же тебѣ за нее дать-то?—онъ опять взялъ бумагу изъ моихъ рукъ, — на вотъ, коли хошь, дамъ кусокъ.. а?.. аль мало?..

И, говоря это, онъ передалъ мнѣ черствую, завалящую съ выглоданнымъ мякишемъ корку хлѣба.

Я взялъ и торопливо, глотая подступившія къ горлу и начавшія душить меня слезы, отошелъ отъ него прочь.

— А сольцы-то?—крикнулъ онъ мнѣ вслѣдъ—, на сольцы-то!.. Возьми!..

V.

— За обѣдомъ!.. Эй, за обѣдомъ! — заорали вдругъ гдѣ-то около двери.

Нѣсколько человѣкъ бросились бѣгомъ вонъ изъ камеры и вскорѣ возвратились назадъ, неся огромныя деревянныя чашки. Въ чашкахъ что-то дымилось и запахло чѣмъ-то кислымъ.

— Разбирай ложки!.. садись!.. жри, православные!.. по пяти человѣкъ на чашку!

Я, вслѣдъ за другими, схватилъ изъ кучи брошенныхъ на нарахъ ложекъ одну и, вооружившись ею, всталъ въ числѣ пяти около одной изъ дымившихся чашекъ, поставленныхъ на нарахъ и наполненныхъ какой-то мутной жижей. Держа въ одной рукѣ ложку, а въ другой стариковскую корку, я приготовился, такъ сказать, къ бою...

— Ну, готовы? — спросилъ высокій круглолицый, съ нагло отчаянными на выкатѣ глазами, малый и постучалъ своей ложкой объ край чашки.

Чашку опорожнили въ одну минуту. Сдѣлалось это такъ скоро, что я не успѣлъ понять, что такое мы хлебали. Буквально пришлось проглотить не больше трехъ ложекъ, да и то съ грѣхомъ пополамъ, расплескавъ половину на полъ.

Страшно было глядѣть, съ какой звѣриной жад-

ностью черпали и торопливо глотали люди эту отвратительную, грязную болтушку!..

Что-то ужасное, что-то унизительно-подлое, не похожее на человѣческую ѣду, было въ этомъ торопливомъ пожирании! .

— Волки, голодные волки!—думалъ я, и вдругъ какъ-то сразу припомнилась и всплыла предо мной картина, которую я видѣлъ однажды, зимней, холодной, лунной ночью у себя дома, на родинѣ. Одинъ старикъ, мой пріятель, страстный охотникъ, бывшій крѣпостной человѣкъ, жившій въ имѣніи на покоѣ, сдѣлалъ „приваду“ на волковъ, начинивъ эту „приваду“ (дохлую лошадь) стрихниномъ, и позвалъ меня ночью въ ригу, изъ которой при лунѣ хорошо была видна эта лежавшая на опушкѣ мелкорослаго осинника „привада“,— посмотреть, какъ будутъ ее „жрать“ волки.

Помню, сѣли мы съ нимъ, притаясь въ полуразвалившейся ригѣ, и стали ждать...

Полная луна плыла по чистому, усыпанному звѣздами, холодному небу и ярко свѣтила. Было видно далеко и къ лѣсу, и въ полѣ...

Въ полночь пришли волки... Ихъ было пять штукъ... Издали было видно, какіе они худые, шаршавые и злые... Они не сразу бросились на „приваду“,— но сначала тихо обошли ее кругомъ, подозрительно нюхая носомъ воздухъ... потомъ, какъ-то внезапно, одинъ изъ нихъ, самый, должно быть,

старый, большой, поджарый, длинный, сдѣлалъ огромный скачокъ. вцѣпился зубами въ бокъ лошади и рванулъ къ себѣ... За нимъ скакнулъ другой, третій, всѣ... Видно было, съ какой ужасной жадностью, оцетинившись, какъ-то визжа, принялись они рвать мясо.. Слышно было, какъ трещать кости.. Я, помню, не отрывая глазъ, глядѣлъ на эту картину... Впечатлѣніе было страшно тяжелое, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мнѣ было жалко этихъ шаршавыхъ худыхъ, наголодавшихся волковъ, какъ теперь было жалко этихъ людей..

VI.

Часовъ въ шесть вечера всѣхъ арестантовъ „выгнали“ въ корридоръ на провѣрку и молитву. Послѣ этого камеру заперли. У двери, на полу поставили зловонную „парашку“.

Небольшая, на все огромное помѣщеніе камеры, лампочка, тускло мигая, свѣтила, какъ въ туманѣ. По потолку и по стѣнамъ мелькали какія-то странныя тѣни. Воздухъ сперся и сдѣлался нестерпимо вонючимъ. Этотъ смрадъ и полутьма давили голову точно камнемъ. Шумъ и крикъ не умолкали ни на минуту. Къ „парашкѣ“ то и дѣло подбѣгали полуодѣтые люди за извѣстной надобностью, и вонь отъ нея несла страшная...

Съ чувствомъ невыносимой тоски, съ головной болью, какъ-то „обалдѣвъ“, бродилъ я по камерѣ,

ища мѣста, гдѣ бы пристроиться на ночь. Подъ нары лѣзть не хотѣлось: ужъ очень тамъ было гадко, а на нарахъ и въ проходахъ мѣсть не было.

Вездѣ, какъ муравьи, копошились и толкались люди. Блѣдный свѣтъ лампочки тихо и трепетно падалъ на нары, лица, плечи, бороды людей... Въ отдаленныхъ углахъ было темно... Все помѣщеніе камеры, полутемное, неясное, казалось чѣмъ-то смутно-стихійнымъ, загадочнымъ, со своимъ не-смысленнымъ гуломъ, похожимъ на ревъ вѣтра...

Шатаясь по камерѣ, изъ одного конца въ другой, прислушиваясь къ разговорамъ и приглядываясь къ лицамъ, я замѣтилъ въ одномъ изъ отдаленныхъ угловъ кучку людей.

Ихъ было шестеро, сидѣли они тѣсной кучкой въ полутьмѣ на нарахъ и одинъ изъ нихъ, какъ оказалось послѣ, дьяконъ, длинноволосый, косматый, широкоплечій человѣкъ, говорилъ густымъ басомъ, точно трубилъ не очень громко въ мѣдную трубу.

— Братцы, други мои милые... любилъ я пуще всего читать Евангеліе... Хорошо!.. Выдешь, бывало, съ Евангеліемъ на амвонъ... Походка у меня была лебединая... Народу—полно, всѣ на тебя глядятъ... Встанешь это... плечами передернешь, да и того... не торопясь эдакъ, начнешь: „Бла-гос-ло-ви, вла-ды-ко!—Густой речитативъ загудѣлъ и рассыпался по камерѣ, забирая все выше.

— Бла-го-вѣс-ти-те-ля, свя-та-го, слав-на-го, все-хваль-на-го апосто-ла и еван-ге-лис-та, Ио-ан-на Бо-го-сло-ва!

— А то, — продолжалъ, опять немного помолчавъ, въ полутьмѣ дьяконовскій басъ, — любилъ я тоже стихиры похоронные. . Сердце отъ нихъ рвется... душа ноетъ... свое окаянство чувствуешь... выворачиваетъ все нутро твое подлое... Любилъ!. Споемъ, Витька, а? — обратился онъ къ кому то. — Споемте, братцы!..

— И такъ тоска! — сказалъ кто-то тоненькимъ голосомъ.

— Дуракъ! — рявкнулъ дьяконъ, — тоска... не понимаешь, оселъ!.. Въ тоскѣ ищи радости!

— Что насъ отпѣвать-то, — мы и такъ отпѣтые, — сказалъ кто-то изъ подъ наръ.

— „Образъ есмь неизреченныя твоя славы“, — запѣлъ вдругъ дьяконъ, и голосъ его трепетно и властно съ какой-то ужасающей тоской раздался по всему помѣщенію камеры...

Въ волну этихъ густыхъ трепетныхъ звуковъ сейчасъ же влились и пристали еще два изумительно сильныхъ, рыдающихъ и тоскующихъ голоса.

— „Аще и язвы нашу прегрѣшеній“, — зарыдали они...

— „Ущедри твое созданіе, Владыко, и очисти твоимъ благоутробіемъ“, — могуче гремѣлъ басъ.

— „И очисти твоимъ благоутробіемъ“,—вторили ему тенора...

Я почувствовалъ, какъ въ груди у меня точно оборвалось что-то. Невыразимо странно было слышать въ этой ужасающей обстановкѣ трогательные благородные звуки, вылетавшіе изъ груди этихъ измытаренныхъ, жалкихъ пропойцъ. Мнѣ казалось, что все вокругъ поетъ и рыдаетъ, трепещетъ и стонетъ въ мукахъ скорби и отчаянія. Жалко было всѣхъ: и тѣхъ, кто пѣлъ, и тѣхъ, кто слушалъ, и самого себя жалко, и жалко прежнюю жизнь, и все то, что видѣлъ и перенесъ въ жизни.

— „И возжелѣнное отечество подаждь ми,“—мучительно терзая сердце, рыдали тенора...

— „Рая паки жителя мя сотворяя“,—съ изумительно-сильно выраженной просьбой со слезами и могучимъ чувствомъ отчаянія докончилъ дьяконъ.

— Да полно вамъ!.. дьяволы!—закричалъ вдругъ, откуда-то чей-то отчаянно-злобный голосъ, — всю душу вымотали, подлецы!.. нашли что пѣть... будетъ!.. покою отъ васъ нѣтъ... и безъ того тошно!..

Пѣвцы замолкли. Кто-то громко засмѣялся... кто-то крикнулъ:

— Отецъ дьяконъ, веселенькую!..

— „Вы-ы-ый... — завелъ дьяконъ, — ду-ль... — точно оборвалъ онъ и продолжалъ:—я на рѣченьку... посмотрю-ль на быструю“. Вслѣдъ за нимъ,

порхая и крутясь, подхватили и понеслись теноры и другіе голоса.

Все вокругъ словно сразу встрепенулось и ожило. Точно неожиданно свѣтлый и радостный лучъ солнца ворвался въ полутемную камеру и, весело играя, внесъ вмѣстѣ со свѣтомъ какую-то удалую, бодрящую, свѣжую волну.

VII.

Приходилось лѣзть подъ нары... Другого исхода не было... Заглянувъ подъ нихъ въ одномъ мѣстѣ, я увидалъ въ полутѣмѣ фигуру сидящаго, скорчившись, на полу маленькаго человѣка... Человѣкъ этотъ курилъ, жадно и часто затягиваясь, и озирался по сторонамъ, очевидно боясь, какъ бы кто не вырвалъ у него папироску...

Я согнулся и полѣзъ на четверенькахъ къ нему. Онъ быстро смялъ въ рукѣ цыгарку и заворчалъ что-то себѣ подъ носъ

— Ты что ворчишь?—спросилъ я, располагаясь съ нимъ рядомъ.

— А тебѣ что?!—огрызнулся онъ и скорчился еще больше, точно ежъ, котораго толкнули ногой.

Подъ нарами было сыро и грязно... Воняло чѣмъ-то гадкимъ, кислымъ и промозглымъ... По бокамъ слышался храпъ спящихъ людей, смѣхъ и сквернословіе.

Я легъ, подложивъ подъ щеку шапку, и сталъ въ полутьмѣ, отъ нечего дѣлать, разглядывать своего сосѣда

Это былъ старичокъ, маленькій, горбатый, чудной... похожій на какую-то большую мышь или крысу, сидящую у своей норки. Въ ногахъ у него лежалъ какой-то узелокъ... Когда я подлѣзъ подъ нары, онъ схватилъ этотъ узелокъ и зажалъ его между колѣнъ, поглядывая на меня и ворча что то, какъ собаченка, грызущая кость...

Ему не сидѣлось покойно: весь онъ, всѣмъ своимъ маленькимъ тѣломъ, одѣтымъ въ какую-то рвань, ерзалъ по полу, точно кто его поджигалъ снизу... Руками онъ дѣлалъ какіе-то непонятные жесты... Ноги, обутыя въ опорки, шаркали по полу... Когда онъ оборачивался ко мнѣ лицомъ, мнѣ видѣлись тонкія губы, бороденка клиномъ, сморщенное лицо и, какъ у осла, большіе уши...

Мнѣ захотѣлось подразнить его, поговорить... И я опять спросилъ:

— Да что ты ворчишь все?.. Ругаешься, что-ли?..

— А тебѣ что за дѣло?—завизжалъ онъ,—что ты присталъ ко мнѣ, сукинъ ты сынъ!..

— Сверни-ка покурить, да угости!—опять сказалъ я.

Онъ затрясся и завертѣлся на мѣстѣ, какъ блоха.

— Покурить!—закричалъ онъ,—на-ка, вотъ, вы-

куси!.. Ахъ вы, лодари!.. жулье!.. много васъ тутъ, сукиныхъ дѣтей!.. воры!.. Отстань отъ меня!.. что ты присталь ко мнѣ: аль выглядываешь, какъ бы упереть что!.. Нѣтъ, братъ, я спать не буду, шалишь!.. Нѣтъ ужъ, я знаю теперь... жулики трехкопѣшныя... тьфу!..

Онъ плюнулъ и, отвернувшись, началъ возиться со своимъ узелкомъ, бормоча подъ носъ ругательства.

Я легъ навзничъ, подложивъ подъ голову руки, и сталъ думать...

Какія-то сѣрыя тягучія мысли носились въ головѣ... Я переживалъ все то, что со мной было за послѣднее время. Точно кто-то потихоньку развѣтывалъ передо мной огромный листъ бумаги, на которомъ, сцена за сценой, изображена была моя жизнь...

Угрюмыя и страшныя картины плыли передо мной, какъ кошмаръ... Усиліемъ воли я старался отогнать ихъ отъ себя, но лишь только закрывалъ глаза, онѣ снова плыли передо мной, мучительно терзая сердце.

Въ камерѣ не смолкало... Непрерывный гулъ, возня, крики, неслись отовсюду... Въ полутьмѣ сновали какіе-то люди, жалкіе и противные... Гдѣ то подъ нарами кто-то пѣлъ громкимъ рыдающимъ голосомъ:

„Голова-ль ты моя удалая,
Долго-ль буду тебя я носить“...

Что-то дикое, нелѣпое и вмѣстѣ страшно грустное чувствовалось во всемъ этомъ.

Я заткнулъ уши и лежалъ съ тяжелой, точно съ похмѣлья, головой... Въ грудь заползала тихо, настойчиво обвивая сердце своими холодными противными кольцами, мучительная змѣя-тоска...

Я закрылъ глаза и забылся тяжелымъ, безпокойнымъ сномъ...

VIII.

Какой-то пронзительный вой, крикъ, хохоть разбудили меня.

Я вскочилъ, ударившись головой объ нары, и полѣзъ на четверенькахъ изъ-подъ нихъ вонъ узнать, что такое случилось, и кто кричитъ.

Около двери собралась и шумѣла толпа косматыхъ, всклокоченныхъ со сна людей. Среди нихъ по грязному полу, шлепая ладонями по лужѣ, текущей отъ „парашки“, валялся человѣкъ, корчась, какъ въ падучей, и вылъ пронзительно громко, какъ поросенокъ, когда его рѣжутъ...

— Что такое съ нимъ?—спросилъ я стоявшаго рядомъ со мной и поднимавшагося на ципочки человѣка.

— А песъ его знаетъ, что съ нимъ!—отвѣтилъ онъ,—должно быть, пьяный... Его сейчасъ только привели... Ишь, его чорта, схватываетъ,—добавилъ онъ равнодушно.

— Подлецы! разбойники! - кричалъ, между тѣмъ, валявшійся на полу человѣкъ. — Креста на васъ нѣтъ! идолаы!.. татары!.. О-о-о, подлецы!..

И онъ, растерзанный, оборванный, жалкій, полупьяный, вскочилъ на ноги и, дико вращая ополумѣвшими глазами, началъ сквернословить, грозя кулаками на дверь.

— Поори... поори!—раздался въ дверную дырку голосъ,—поори, сволочь проклятая!..

— Самъ ты сволочь,—завизжалъ человѣкъ,—ахъ, вы мошенники!.. Подлецы! подлецы! подлецы!—все возвышая голосъ, пронзительно кричалъ онъ и вдругъ не то что заплакалъ, а какъ-то дико затявкъ и въ безсильной злобѣ опять покотился по полу...

— Вотъ такъ чортъ!—раздались голоса,—что его рѣжутъ, что-ли?.. Откуда такой взялся?

— Спать не даетъ, дьяволь! — заворчалъ кто-то.

— Уймите его!—крикнулъ другой.

— Староста! Ой, староста! Твое дѣло! — закричалъ изъ подъ наръ третій,—уйми! Людямъ покой нуженъ... Что не видали, черти?!

— А вотъ сейчасъ!—раздался спокойный, самоувѣренный голосъ, и староста, средняго роста, черноволосый, скуластый здоровенный мужикъ, отпихнувъ людей, подошелъ къ валявшемуся на полу пьяному, наклонился, взялъ его рукой за

шиворотъ и, поставивъ на ноги, внушительно, какимъ-то страшнымъ голосомъ сказалъ:

— Брось орать! рвань паршивая!.. ложись... дрыхни, сволочь!..

— Ты самъ сволочь! — закричалъ человѣкъ, — кто ты?.. Я... я!..

Но староста не далъ ему договорить.. Онъ вдругъ взмахнулъ рукой и со всего размаха ударилъ его по лицу.

Человѣкъ, какъ снопъ, упалъ на полъ, что-то рыча и захлебываясь...

— Прибавь! — крикнулъ кто-то и засмѣялся.

Упавшій хотѣлъ было приподняться и встать на ноги, но староста, съ покраснѣвшимъ лицомъ, тяжело сопя, ударилъ его опять.

— Ка-ра-уль! — не то застоналъ, не то закричалъ человѣкъ и какъ-то невыразимо жалко, точно заяцъ, у котораго перешибли ноги, по-ребячьи захлюпалъ, закричалъ и на четверенькахъ торопливо поползъ подъ нары, поворачивая на ходу въ сторону, гдѣ стоялъ староста, свое разбитое, окровавленное лицо съ мутными, одурѣвшими отъ водки и страха глазами...

Не помня себя, я побѣждалъ отъ этого зрѣлища и забился опять на старое мѣсто, подъ нары.

За мной слѣдомъ юркнулъ туда же мой сосѣдъ старикашка. Усѣвшись, онъ захихикалъ и сказалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Видалъ?.. Ловко!.. такъ васъ и надо, сукиныхъ дѣтей, хи, хи, хи!..

— Чему ты радуешься, чорты!—закричалъ я, чувствуя къ противному старику отвращеніе и злость.

Какъ будто мои слова относились не къ нему,— онъ ничего не отвѣтилъ, отвернулся; хихикая, забормоталъ что-то, какъ тетеревъ на току, и началъ продѣлывать руками какіе-то чудные и непонятные знаки, точно стараясь схватить что-то.

— Полоумный!—подумалъ я, глядя на него.

Но вдругъ онъ опять обратился ко мнѣ и сказалъ:

— Ловко, а?.. такъ и надо... а?.. морда-то вся въ крови... будетъ помнить... хи, хи, хи!..

Сказавъ это, онъ отвернулся отъ меня и затрясся всѣмъ своимъ противнымъ тѣломъ отъ душившаго его гадкаго сдавленнаго смѣха.

— „И скажетъ тѣмъ, которые по лѣвую: изыдите отъ меня проклятіи въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и аггеломъ его“,—громкимъ шепотомъ забормоталъ онъ неожиданно и потихоньку тоненькимъ голоскомъ запѣлъ: — „Егда славній ученицы на умовеніѣ вечери просвѣщахуся... То-о-о-гда, —старательно выводилъ онъ, —Иуда злочестивый сребро“...

— Я тебя вотъ просвѣщу, стараго пса, по шеѣ!—раздался вдругъ густой, точно изъ пустой бочки,

басъ. — Будешь тогда помнить Іуду... Ишь тебя схватываетъ... распѣлся! нашелъ мѣсто... Я те заткну глотку-то, паршивый чортъ!..

Старикашка быстро, какъ ежъ, свернулся клубкомъ и притихъ.

IX.

Проснувшись утромъ, я не нашелъ своей шапки: пока я спалъ, ее успѣли украсть... Шапка была хорошая, и мнѣ стало ее жаль, а главное, досадно было то, что придется щеголять въ казенномъ блинообразномъ, кругломъ арестантскомъ картузѣ.

Выбравшись изъ-подъ наръ, я увидалъ, что разсвѣтаетъ. Въ окна слабо проникалъ свѣтъ тусклаго зимняго утра... Какой-то сѣроватый смрадъ, отъ котораго щекотало въ горлѣ и трудно было дышать, стоялъ въ камерѣ... Большинство арестантовъ еще спало, разметавшись по нарамъ во всевозможныхъ позахъ... Нѣкоторые лежали, почти совсѣмъ нагіе, въ однѣхъ грязныхъ, худыхъ рубахахъ; изъ-подъ наръ высывались ноги; отовсюду шелъ храпъ, стонъ, какія-то непонятныя вскрикиванья... Нѣкоторые во снѣ неистово драли ногтями обнаженное тѣло, стараясь избавиться отъ насѣкомыхъ, кишмя кишѣвшихъ на нарахъ...

Дверь въ корридоръ отперли.. Застучали чай-

никами... Счастливыцы стали пить „цыку“ *). Протащили на палкѣ вонючую „парашку“...

Я пошелъ въ корридоръ и сказалъ надзирателю, что у меня украли шапку.

— Ладно,—сказалъ онъ, окинувъ меня злымъ взглядомъ,—я скажу старостѣ... Чего-жъ ты глядѣлъ, дурья голова!..

Я опять пошелъ въ камеру. Люди лѣниво поднимались со своихъ логовищъ. Многіе пили „цыку“, сидя на нарахъ по-гурецки: большинство-же лежало, вѣроятно, не зная для чего вставать... Нѣкоторые, сидя на нарахъ поближе къ окнамъ, нагѣ, давили въ рубахахъ насѣкомыхъ. Какой-то сѣдой съ нависшими бровями, курносый старикъ молился, читая вслухъ молитву. „Отврати лицо твое отъ грѣхъ моихъ, и вся беззаконія моя очисти. Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей“, — громко говорилъ онъ, и странно какъ-то звучали эти слова въ этой неподходящей обстановкѣ.

Лампочку загасили. Съ каждой минутой въ камерѣ становилось свѣтлѣе, и этотъ свѣтъ придавалъ ей какой-то еще болѣе тяжелый, безотраднотужасный видъ. Жалко было глядѣть на людей, доведенныхъ до послѣдней степени униженія, загнанныхъ въ это гадкое помѣщеніе подобно ско-

*) „Цыкой“ на арестантскомъ жаргонѣ называютъ цыкорный кофе.

тамъ, брошенныхъ, никому не нужныхъ, оставленныхъ всѣми...

— Эй!.. У какого тутъ чорта шапка пропала?!— закричалъ вдругъ на всю камеру староста, входя изъ корридора въ дверь — Говори, что-ли!..

— У меня пропала! откликнулся я и подошелъ къ нему.

— У тебя?—переспросилъ онъ, окинувъ меня злыми глазами, — ты жаловаться, сволочь!.. Ну. ладно,—добавилъ онъ, помолчавъ,—смотри, коли найду здѣсь ее, всю морду тебѣ разобью!.. Самъ, небось, засунулъ куда-нибудь, да на людей сваливаетъ... сволочь!

— Чего-жъ ты лаешься-то? — ничего не понимая, спросилъ я.

— У-у-у, поговори еще! — закричалъ онъ и скрипнулъ зубами,—чортъ! Обыскъ теперь изъ-за тебя дѣлать, что-ли?.. Шапка его пропала!.. невидаль! Чай не сто рублей стоитъ...

Ругаясь и грозя, онъ отошелъ отъ меня прочь. Не понимая, что это значить, я сѣлъ на край наръ, въ ногахъ у какого-то человѣка, лежавшаго навзничъ, наблюдавшаго за мной, и, недоумѣвая, вопросительно взглянулъ на него. Онъ поймалъ мой взглядъ, поднялся, сѣлъ, поджавъ ноги калачикомъ, и, улыбнувшись, сказалъ:

— Что, братъ, вяпался?.. Вотъ тебѣ и шапка!

— Чего онъ ругается?—спросилъ я.

— Ругается-то что?—переспросилъ онъ.—Эхъ, ты чудакъ!.. Мелко плаваешь — спину видно... Я тебѣ вотъ что скажу, по душамъ: иди ты къ надзирателю, скажи: нашелъ, молъ, шапку... А то плохо, братъ, тебѣ будетъ.

— А что?

— Да то, что надзиратель скажетъ еще кое кому, придутъ съ обыскомъ... Шапку твою все одно не найдутъ, а еще кое-что неладное найдутъ... Ну, и того... понялъ?..

— Понялъ! спасибо, что научилъ,—отвѣтилъ я и пошелъ опять въ корридоръ заявить, что шапка нашлась.

Когда я возвратился снова въ камеру, то увидалъ, что староста слѣдитъ за мной.

— Ну что, нашелъ шапку?!—крикнулъ онъ.

— Нашелъ!—отвѣтилъ я.

— Ну, то-то... А говорилъ: пропала... Сволочь!.. Въ морду васъ чертей надо, дурачье!.. Деревня необузданная!.

Х.

Невыносимо долго тянулось время. Дѣлать было положительно нечего. Отъ толкотни, шума и смрада кружилась голова, ныло сердце и брала досада на то, что попросился съ дуру на этотъ „вольный этапъ“...

Судя по разговорамъ, которые мнѣ удалось

услыхать, я понялъ, что отсюда не скоро вырвешься...

Тоска грызла меня. Не находя мѣста, я бродилъ по камерѣ, приглядываясь къ людямъ и слушая разговоры... Не веселы были люди, не веселы и разговоры!.. Всѣ томились и ждали своей участи, ждали, когда погонять въ тюрьму, а изъ тюрьмы—кого этапомъ домой, на родину, кого въ Сибирь, и т. д...

— Въ тюрьмѣ много лучше, — слышалъ я не одинъ разъ,—тамъ чистота... лапшой кормятъ... а здѣсь что?—каторга!.. не жрамши, издохнешь!..

И правда, тяжело было сидѣть здѣсь!.. Тѣсно, грязно, голодно, а главное, невыносимо скучно безъ дѣла.

Получивъ пайку хлѣба, хлебнувъ ложки двѣ-три похлебки, я полѣзъ подъ нары, мысленно махнувъ на все рукой, думая, что придетъ, наконецъ, время и сдѣлаютъ же насчетъ меня какое-нибудь распоряженіе..

— Лѣзь, лѣзь, землякъ!—привѣтствовалъ меня изъ-подъ наръ какой-то человѣкъ,—лѣзь!.. мѣсто хорошее... теплое... чистое... рай пресвѣтлый!..

Я забрался въ этотъ „рай пресвѣтлый“ и легъ на вонючій и грязный полъ рядомъ съ этимъ такъ любезно приглашавшимъ меня человѣкомъ.

Онъ лежалъ, облокотившись на руку, и, улыбаясь, глядѣлъ на меня.

— Ложись... любота здѣсь! — продолжалъ онъ, — а тамъ, наверху тѣснота, повернуться негдѣ... Здѣсь словно у Христа за пазухой!.. Полеживай да и все тутъ!.. И вша не такъ ѣсть... Не любить она подлая сырости! Недаромъ видно говорится: вша тепло любить... Ты какъ попалъ сюда?.. За что?.. Давно-ли замели? — И, не ожидая отвѣта, продолжалъ:—Плохо нашему брату жить стало... закрывай лавочку... Народъ аккуратень сталъ... какъ залѣзъ куда, тутъ и того, говори, влопался.. Не кладутъ плохо!..

— А ты что-жъ, воровствомъ занимался?—спросилъ я, глядя на его веселое лицо.

— А то чѣмъ же! — воскликнулъ онъ удивленно,—вотъ спрашиваетъ... понятное дѣло!.. неужели работать стану... А ты нешто не этимъ?..

— Нѣтъ.

— А чѣмъ же?.. Стрѣлялъ, что-ли?..

— Стрѣлялъ!—отвѣтилъ я, чтобъ отвязаться.

Плохо подають-то ноне, не стоитъ овчинка выдѣлки, да и полиція слѣдить строго... Какъ чуть заѣввался — готовъ... какъ сомъ въ вершу! Вотъ моду взяли: нищимъ просить не велятъ... гдѣ это видано?..

— Стало быть, такъ надо,—сказалъ я.

— Видно, что надо. Имъ что, имъ хорошо! Съ

деньгами-то и дуракъ проживетъ... Совѣстно имъ нашего брата, вотъ и не знаютъ, какъ отвязаться. И въ тюрьму сажаютъ, и на родину шлютъ, въ дома рабочіе... туда, сюда... чтобъ глаза не мозолили. Да нѣтъ, шалишь, много насъ!—точно радуясь, воскликнулъ онъ,—охъ, много насъ!.. Сила!.. Кто кого одолѣетъ—неизвѣстно... Тебя, что же, на родину, что ли? — перемѣнилъ онъ, помолчавъ, рѣчь.

— На родину!—отвѣтилъ я и рассказалъ, какъ это случилось. Когда я сказалъ, что иду „вольнымъ этапомъ“, онъ сдѣлалъ большіе, удивленные глаза и, покотившись со смѣху, воскликнулъ:

— Вотъ, дуракъ-то!.. Царица небесная!.. Вотъ!.. Ахъ ты, чудородъ... Что-жъ тебѣ на волѣ-то надо?.. Ахъ ты, дуракъ, дуракъ!.. Н-у-у ты небось думалъ: такъ тебя сейчасъ и отправятъ... Пожалуйте, ваше благородіе... Нѣтъ, братъ, врешь, не скоро ты попадешь домой... Вша-то тебя, знать, не ѣла, такъ поѣсть всласть... Здѣсь вотъ посидишь день шесть, да въ тюрьмѣ, пока партію на Москву соберутъ, недѣлю, а то и двѣ... да, гляди, въ Москвѣ столько же. Аль тебя не до Москвы?.. Ну, все одно—въ Клину застрянешь... Да что толковать, погуляешь; попьютъ изъ тебя крови!.. Мнѣ,—продолжалъ онъ, торопливо свернувъ и закуривъ папироску, — все это, пріятель, вотъ какъ извѣстно!.. Погоняли меня, знаю, обтер-

пѣлся я... Всего видалъ... Ну, а только скажу по совѣсти: не приведи, Царица небесная, этапомъ ходить!.. И какъ это тебя догадало... Чудное дѣло!.. Да ты пѣшкомъ-то бы махнулъ... А у тебя пальтишко-то важное, — перемѣнилъ онъ вдругъ разговоръ, ощупывая рукой мое пальто, — давай, смѣняемся на пинжакъ?.. Придачи дамъ, а?.. не хошь?.. Ну, твое дѣло!.. А я-бы далъ на бутылку... На тебѣ вся одежда ничего... казенной тебѣ не дадутъ.. Гляди, коли пѣшкомъ идти, придется до дому, то прохватить тебя. . Не будь у тебя пальтишка, полушубокъ дали бы... Вѣрно я тебѣ говорю... Смѣняемъ, а?..

Я ничего не отвѣтилъ ему и молча полѣзъ вонъ изъ-подъ наръ. Слова этого человѣка нагнали на меня еще большую тоску. Я досадовалъ и раскаивался, что попалъ, по неопытности, на этотъ „этапъ“... Но, дѣлать было нечего, приходилось сидѣть у моря и ждать погоды

XI.

Прошло четыре томительно долгихъ дня. За эти дни я сильно затосковалъ...

Мнѣ стало казаться, отъ постоянного шума, вони, сквернословія, грязи и рвани, я живу гдѣ-то за тридевять земель, въ какомъ-то другомъ царствѣ, гдѣ люди только и знаютъ, что валяются

на грязныхъ, смрадныхъ нарахъ, давятъ насѣкомыхъ, ругаются, ѣдятъ вонючую похлебку, не знаютъ ни радости, ни любви, ничего, кромѣ злобы, ненависти, обиды, слезъ и затаеннаго отчаянія...

Мнѣ казалось, что вся эта огромная камера, съ ея окнами, потолкомъ, стѣнами, со множествомъ людей, молодыхъ и старыхъ, рваныхъ и грязныхъ, была наполнена не воздухомъ, а злобой и отчаяніемъ...

Люди отъ постоянного пребыванія вмѣстѣ, полуголодные, изѣденные насѣкомыми, грязные, озлобленные, опостылѣли другъ другу и ненавидѣли другъ друга до глубины души...

Было страшно и жутко! Сердце ныло и плакало постоянно... До боли было жалъ всѣхъ этихъ людей и себя, и вся жизнь казалась чѣмъ-то страшнымъ, ненужнымъ, мрачнымъ, тоскливо-печальнымъ!..

Вечеромъ, на четвертый день, послѣ повѣрки, мнѣ объявили, наконецъ, что на другой день поутру, вмѣстѣ съ другими, меня погонятъ въ тюрьму.

Изъ нашей камеры назначили къ отправкѣ въ тюрьму человекъ тридцать, да изъ другихъ камеръ по столько же, если не больше. Вообще, народу собралось много... И какого народу!.. „Какая смѣсь одеждъ и лицъ“!..

Рано утромъ всю эту разношерстную толпу выгнали на дворъ, построили, сдѣлали перекличку и „погнали“...

Утро было холодное, дулъ пронзительный вѣтеръ и прохватывалъ до костей... На прямыхъ, малолюдныхъ и мрачныхъ улицахъ, по которымъ насъ гнали, было какъ-то тоскливо и жутко.

Темно-свинцовое небо висѣло надъ головами и точно давило... Откуда-то, не то съ фабрики, не то съ желѣзной дороги, доносились пронзительно-жалобные свистки, нагонявшіе на измотавшуюся и безъ этого душу еще большее уныніе. . Было до того гадко и тошно, что такъ бы, кажется, закрыть глаза и полетѣлъ въ какую-нибудь пропасть отъ всего этого ненужного безобразія, которое люди называютъ жизнью!..

Наша грязная и рваная толпа шла торопливо и молча, мѣся ногами бурый снѣгъ, возбуждая своимъ видомъ въ прохожихъ любопытство и жалость...

Я шель, испытывая скверное чувство: точно кто-то подгонялъ меня сзади кнутомъ... Мнѣ казалось, что люди, смотрѣвшіе съ тротуаровъ, видятъ во мнѣ не человѣка, а что-то отвратительное и страшное.

Шли мы долго и все какими-то малолюдными улицами... Очевидно, тѣмъ, кто распоряжался нами, было стыдно вести нашу жалкую, грязную, дикую партію тамъ, гдѣ много прохожихъ...

Судя по тому, какъ обращались съ нами, вѣроятно, насъ не признавали за людей, которымъ такъ же и больно, и холодно, и стыдно, и голодно, какъ и всѣмъ, а прямо-таки считали какимъ-то паршивымъ, зачумленнымъ стадомъ козлищъ, которыхъ стоило-бы пришибить поскорѣе, да бросить гдѣ-нибудь, чтобы не видали!..

ХІІ.

У тюремныхъ воротъ партія остановилась... Стали пускать въ калитку по одиночкѣ. У калитки стоялъ надзиратель счетчикъ, который каждого проходившаго, не глядя на него, а глядя куда-то поверхъ головъ, хлопалъ по спинѣ и громко произносилъ: 1-й, 2-й, 5-й 10-й и т. д.

Послѣ этого всѣхъ насъ провели въ огромную, свѣтлую и чистую комнату, приѣмную и, переписавъ, отправили въ кладовую сдавать свою одежду и надѣвать казенную.

Мнѣ не хотѣлось, да собственно и не зачѣмъ было надѣвать казенный изъ толстой матеріи вонючій пиджакъ, потому что у меня былъ свой. Поэтому я завернулъ и сдалъ на храненіе только одно верхнее пальтишко, все же остальное осталось на мнѣ свое.

Получивъ картонный №, я отошелъ въ сторону, къ тѣмъ, которые переодѣлись, и сталъ ждать, что будетъ дальше.

Переодѣвшись въ одинаковые костюмы, люди показались мнѣ съ виду какъ будто совсѣмъ другими. Не было той гадкой, разношерстной рвани, которая такъ рѣзко бросалась въ глаза и отталкивала своимъ тяжелымъ видомъ въ частномъ домѣ...

На всѣхъ были надѣты сравнительно крѣпкіе и чистые пиджаки и, подъ цвѣтъ имъ, такіе же длинные на выпускъ, толстые штаны.

Лица людей, какъ будто тоже, вмѣстѣ съ одеждой, перемѣнились и стали гораздо лучше и веселѣй... Да и вообще вся обстановка тюрьмы не производила тяжелаго впечатлѣнія, а, напротивъ, здѣсь, сравнительно съ тѣмъ мѣстомъ, откуда насъ пригнали, было все хорошо, свѣтло, чисто и напоминало своимъ видомъ скорѣе больницу, чѣмъ тюрьму... Не было этого ужаснаго, сплошнаго крика, не было сквернословія и не было той особенной, невыносимо-гадкой вони, которая царяла въ камерѣ частнаго дома...

Послѣ того, какъ дѣло съ переодѣваньемъ уладилось, насъ повели по широкой лѣстницѣ въ верхній этажъ и тамъ въ корридорѣ, построивъ всѣхъ по четыре человѣка, затылокъ въ затылокъ, сдѣлали перекличку, ощупали каждого и ужъ послѣ этого размѣстили по камерамъ...

ХІІІ.

Всѣхъ насъ собралось въ камерѣ чловѣкъ тридцать, хотя помѣщеніе камеры могло вмѣстить въ себѣ несравненно большее число людей.

Всѣхъ насъ гнали на родину этапомъ, и, кажется, одинъ только я дѣлалъ это путешествіе въ первый разъ. Всѣ остальные были рецидивисты или, по здѣшнему, „спиридоны повороты“... Этимъ „спиридонамъ“—я не знаю и не понимаю почему,—давалось казенное бѣлье и верхняя одежда въ полную собственность, которая, по прибытіи на мѣсто назначенія, сейчасъ же пропивалась, и „спиридонъ“, вырезвившись и облачившись въ какую-нибудь рванину, снова шагаль въ Питерь...

Камера, куда заперли насъ, представляла изъ себя отличное, свѣтлое, теплое и чистое помѣщеніе. Черный асфальтовый, натертый воскомъ полъ лоснился и блестѣлъ, точно покрытый лакомъ. Посрединѣ стоялъ чистый, окрашенный сѣрой краской, длинный, узкій, почти во всю длину камеры, столъ. Около него, по обѣимъ сторонамъ, стояли такого же цвѣта и тоже такіа же чистыя скамейки.

По стѣнамъ, направо и налево, были пристегнуты парусиныя койки подъ №№...

На полкѣ, близъ входной рѣшетчатой, чугу-

ной двери, сквозь которую было видно все, что дѣлается въ корридорѣ, стояло нѣсколько штукъ, изъ красной мѣди, вычищенныхъ и горѣвшихъ, какъ огонь, большихъ чайниковъ... Въ одномъ изъ отдаленныхъ угловъ камеры было устроено отхожее мѣсто, тоже отличавшееся чистотой.

Словомъ, все было такъ хорошо, что намъ, только что выпущеннымъ изъ вонючей и душной трущобы, помѣщеніе это показалось раемъ.

Въ корридорѣ постоянно находился надзиратель: онъ то и дѣло подходилъ къ дверямъ и заглядывалъ въ камеры, слѣдя за нами, какъ ястребъ за курами.

Въ камерѣ было тихо: ни крика, ни ругани... Люди погуливали по асфальтовому полу вдоль камеры, одѣтые въ новые костюмы, точно гдѣ-нибудь по бульвару, а не въ тюрьмѣ.

Погулявъ, я подошелъ къ двери и сталъ глядѣть, что дѣлается въ корридорѣ и въ другой противоположной, угловой, маленькой по размѣру камерѣ, сквозь двери которой намъ все было видно...

То, что я увидалъ, поразило меня удивленіемъ. Тамъ были дѣти, — нѣсколько человѣкъ мальчиковъ, — по здѣшнему, на языкъ босаковъ, „плашкетовъ“... Эти „плашкеты“ висли на двери, таранились въ корридоръ, шумѣли, кричали, сквернословили... Надзиратель то и дѣло подходилъ къ

ихъ двери и, покраснѣвъ отъ злости, кричалъ на нихъ... Но это мало помогало: на минуту они смолкали, пока онъ стоялъ около двери, а потомъ снова принимались за свое.

Увидя, что мы нѣсколько человѣкъ, глядимъ на нихъ, они, какъ только отвертывался надзиратель, принимались дѣлать намъ непристойные знаки... Стоявшіе со мной арестанты, видя это, засмѣялись, а одинъ, толстый, съ красными пятнами по лицу, съ выкатившимися и широко разставленными калмыцкими глазами, человѣкъ передернулъ какъ-то особенно плечами и крикнулъ:

— Гляди, гляди, и Катька тамъ!.. Попала стерва! Ха, ха, ха!.. Ахъ, сволочь!.. Катька!—крикнулъ онъ, когда надзиратель отошелъ подальше, и сдѣлалъ руками какой-то знакъ. — Гляди сюда, подлая!.. хошь этого?!

На этотъ крикъ и жестъ одинъ изъ „плашкетовъ“, очевидно, прозванный Катькой, съ своей стороны, сдѣлалъ что-то такое непристойное, что заставило всѣхъ смотрѣвшихъ разразиться хохотомъ.

— Ахъ, сволочь! что дѣлаетъ!..—съ какимъ-то наслажденіемъ проговорилъ толстый, къ которому, вѣроятно, и относился этотъ знакъ.. Смѣясь, онъ навалился всѣмъ своимъ короткимъ тѣломъ на дверь и, припавъ лицомъ къ рѣшеткѣ, крикнулъ то неприличное слово, какимъ въ народѣ обзываютъ публичныхъ женщинъ.

— Прочь отъ двери!—закричалъ. услышавъ это и подбѣжавъ къ намъ, надзиратель.—Ахъ ты, подлецъ! въ карцеръ захотѣлъ?!

— Что все это значитъ? — спросилъ я, отойдя отъ двери, у какого-то молодого длинноволосаго человѣка, повидимому, изъ кутейниковъ.

— А ты, небось, не знаешь?—отвѣтилъ онъ, отходя отъ меня,—сволочь! — презрительно добавилъ онъ, оглянувшись:—у меня, братъ, не покуришь!..

Я обратился къ сѣдому, добродушному съ виду старичку. Пожевавъ губами, онъ улыбнулся и, дотронувшись до пуговицы моего пиджака, сказалъ:

— Дѣло, другъ, житейское. Мало ли что на міру-то дѣется... Народъ до всего дошелъ... Бога забыли, стыда нѣтъ... ну и того... понялъ?..

И онъ разсказалъ мнѣ такое, что не дай Богъ и слышать!.

XIV.

Въ тюрьму пригнали насъ какъ разъ наканунѣ Николина дня.

Въ шестомъ часу вечера въ камеру заглянулъ надзиратель и крикнулъ:

— Въ церковь!

Мы построились попарно другъ за другомъ, и надзиратель повелъ насъ внизъ по лѣстницѣ...

Изъ другихъ камеръ тоже выходили люди и шли внизъ за нами.

Вся широкая лѣстница заполнилась этимъ шествіемъ... Слышался кашель, сморканье, шепотъ, шарканье объ полъ множества ногъ, сдержанный смѣхъ.

Сойдя внизъ, мы увидали отворенныя двери пустой, тускло освѣщенной церкви и, молча крестясь и кланаясь, вошли туда.

Намъ приказали идти на хоры, направо. Тѣсясь и толкаясь, мы начали устанавливаться...

Съ хоръ хорошо было видно все внизу. Волна людей, молодыхъ и старыхъ, худыхъ и толстыхъ, бритыхъ и не бритыхъ безостановочно текла въ дверь... Надзиратели торопливо устанавливали ихъ по нѣсколько человѣкъ въ рядъ, другъ за другомъ.

Послѣ всѣхъ вошли съ полу-обритыми головами каторжные. Впереди ихъ шелъ, какъ сейчасъ гляжу, высокій, съ горбатымъ носомъ, худощавый, съ какой-то точно заостренной кверху головой, молодой арестантъ... Онъ шелъ точно на гулянье, свободно помахивая правой рукой, высоко держа голову, посматривая по сторонамъ съ такимъ видомъ, какъ будто хотѣлъ сказать: глядите на меня, каковъ я молодецъ!..

Звяканье цѣпей вдругъ наполнило тишину церкви...

Жутко и тяжело было слушать это звяканье...

Нѣкоторое время въ церкви было тихо и полутемно. Ждали священника... Онъ скоро пришелъ и торопливо, почти бѣгомъ, наклонивъ голову, направился въ алтарь. Церковь освѣтили. Началась служба...

При первыхъ же словахъ священника, я почувствовалъ мучительное чувство тоски и одиночества... Передо мной встала другая, далекая церковь... Тамъ тоже праздникъ... тоже служба... весело горятъ свѣчи... церковь полна народомъ... на лицахъ праздничное, веселое выраженіе... съ клироса несутся и наполняютъ всю церковь голоса пѣвчихъ... Священникъ въ бѣлой нарядной ризѣ ходитъ по церкви и кадитъ, не жалѣя ладану, у мѣстныхъ иконъ...

Съ колокольной раздаются торопливые, частые, веселые звуки колоколовъ... Бѣлоголовые мальчишки снуютъ между большихъ, то вбѣгая въ церковь, то выбѣгая на паперть... Словомъ,—все весело, празднично, прекрасно и мирно...

А здѣсь...

Сурово и молча стоятъ арестанты... Изрѣдка кто-нибудь перекрестится... тяжело вздохнетъ... наклонитъ голову и думаетъ. О чемъ?

— „Правило вѣры, образъ кротости“—торопясь, скороговоркой выкрикиваетъ дьячекъ...

Слышатся вздохи... звякаютъ цѣпи... Нѣкоторые падаютъ на колѣна...

— „Отче, священно-начальниче, Николае, моли Христа Бога, спаситися душамъ нашимъ“!..

— „Спаситися душамъ нашимъ!“—громко шепчетъ стоящій рядомъ со мной старикъ и кланяется въ землю, стучаясь лбомъ объ полъ.

Я стою, слушаю и чувствую, какъ подступаютъ къ горлу слезы... Что-то непонятное, мучительно-скорбное охватываетъ все мое существо... Я боюсь разрыдаться... Какой-то холодный ужасъ и нестерпимая тоска заполняютъ душу...

XV.

Печально и тоскливо началось на другой день, въ нашей камерѣ, праздничное утро...

Разбудили рано... сдѣлали повѣрку... пропѣли молитву, убрали камеру, и каждый могъ заняться чѣмъ хотѣлъ и какъ хотѣлъ...

Тусклый свѣтъ утра медленно, точно нехотя, мало по малу разгоняя тьму, наполнялъ камеру.

По камерѣ взадъ и впередъ, по одиночкѣ и попарно, скользя чюнями по гладкому полу, сновали арестанты...

Я подошелъ къ окну и сталъ глядѣть на улицу. Въ огромное окно видна была часть тюремнаго двора, высокая, красная кирпичная стѣна, а за стѣной Обводный каналъ и садъ Александрo-Невской лавры. Надъ всѣмъ этимъ висѣли и тихо

плыли клочковатая, темно-свинцовая облака. Изъ нихъ, тихо порхая, падали на землю крупные и рѣдкіе хлопья снѣгу... Гдѣ-то вдали поднимался столбомъ густой, черный дымъ и стлался по воздуху медленно и плавно... Глядя на эту картину, я перенесся мысленно домой, на родину... Мнѣ стало больно и грустно... Я отвернулся и пошелъ на другой конецъ камеры, гдѣ въ углу, около печки собралась кучка людей и слушала какого-то шаршаваго, высокаго человѣка.

Я подошелъ къ нимъ и сталъ тоже слушать. Высокій, съ огромной копной свалывшихся рыжихъ волосъ на головѣ, человѣкъ этотъ, дѣлая руками какіе-то театральные жесты, громко, отчетливо и звучно читалъ стихи. Его внимательно и, видимо, съ большимъ удовольствіемъ слушали.

•
„Всѣ, кто въ этомъ дѣлѣ сгинетъ,
Кто падетъ подъ знакомъ крестнымъ,
Прежде, чѣмъ ихъ кровь остынетъ,
Будутъ въ царствіи небесномъ“!

Напирая на риѣмы, читалъ онъ, махая руками, и, вращая по лицамъ слушателей большими какими-то полоумными глазами,—продолжалъ:

„И лишь зовъ проникнулъ въ Дони,
Первый всталъ епископъ Эрикъ,
Съ нимъ монахи, вадѣвши брони,
Собираются на берегъ“.

— Ты что разинулъ ротъ-то? — вдругъ обратился онъ къ молодому парнишкѣ, — ничего вѣдь, оселъ, не смыслишь... да и всѣ-то вы... Ну... тсс!..

Онъ подумалъ, помолчалъ, потеръ рукой лобъ, какъ бы припоминая, и началъ:

„Всѣ струги, построюсь рядомъ,
Покидаютъ вмѣстѣ берегъ,
И, окинувъ силу взглядомъ,
Говорить епископъ Эрикъ“.

Онъ поднялъ обѣ руки, точно „владыко“, благословляющій народъ, и, подержавъ ихъ такъ нѣсколько времени, вдругъ опустилъ, точно бросилъ что, и заоралъ:

„Съ нами Богъ! склонилъ къ намъ пана
Преподобнаго Егорья,
Разгромимъ теперь съ нахрапа
Все славянское поморье“!..

Оралъ онъ, махая руками и дико вращая глазами... Странно и жалко было глядѣть на него.

— Вѣдь вы кто? — началъ онъ, помолчавъ: — вы всѣ, собственно говоря, свиньи, скоты... вамъ бы только нажраться. А я... я — жрецъ!.. Вы счастливые скоты, потому что вы глупы, а у меня огонь божественный горитъ въ груди!.. Я — артистъ. Я видалъ лучшую долю, я...

— „Природа, мать, — закричалъ онъ опять дикимъ голосомъ, — когда-бъ такихъ людей, — онъ

ударилъ себя въ грудь,—ты иногда ни посылала міру, заглохла-бъ нива жизни“! Пошли вы прочь отъ меня!—закричалъ онъ рыдающимъ голосомъ,—безчувственныя дубины!.. Умираю вѣдь я, дьяволы! Прочь!..

— Чудакъ!—сказалъ кто-то.

— Лается тоже, сволочь!—сказалъ другой.

— Арестанты вы, несчастные!.. Сволочи!—оралъ, между тѣмъ, на всю камеру какимъ-то дикимъ, тоскливымъ голосомъ полоумный чтецъ стиховъ...

XVI.

На другой день, часу въ одиннадцатомъ, послѣ обѣда (обѣдали мы рано), пришелъ въ нашу камеру какой-то чернобородый, при фартукѣ, въ полушубкѣ, обсыпанномъ мучной пылью, человѣкъ и сказалъ:

— Ну, кто на мельницу?.. Кто не пойдетъ ли? Пять человѣкъ арестантовъ подошло къ нему.

— Мы пойдемъ!—сказали они.

— Ну, а еще кто?—спросилъ онъ и взглянулъ на меня.—Ты, длинный, не хошь ли, а?..

— А что дѣлать?—спросилъ я.

— Увидишь!.. муку молоть... покуришь за это, цыки попьешь...

— Можно!—сказалъ я, заинтересовавшись его предложеніемъ и радуясь, что хоть на время вы-

берусь изъ этой клѣтки куда-то въ другое мѣсто и проведу безконечно-долго тянувшееся время не праздно, а за работой.

— Сколько васъ? Шестеро... Ну, идемте.

Надзиратель отперъ дверь, и мы пошли за человѣкомъ въ полушубкѣ по лѣстницѣ внизъ. Внизу, около запертой двери, стоялъ солдатъ и караулилъ человѣкѣ двадцать арестантовъ, поджидавшихъ, какъ оказалось, того человѣка, который привелъ насъ.

— Всѣ, что ли?—спросилъ солдатъ отъ двери.

— Всѣ!—отвѣтилъ человѣкѣ въ полушубкѣ.

— Что-жъ мало?..

Человѣкѣ въ полушубкѣ засмѣялся и сказалъ:

— Небось, не кашу жрать!.. Ну, становись по порядку!—крикнулъ онъ намъ, — одинъ за другимъ!..

Мы построились. Онъ прошелъ вдоль всей линіи, пересчиталъ насъ, дотрагиваясь до каждого рукой, и послѣ этого велѣлъ отворять дверь.

Солдатъ загромыхалъ засовомъ, отперъ дверь и, ставъ на порогѣ, крикнулъ:

— Маршъ по одному!..

Мы по одиночкѣ начали выходить на дворъ.

Стоявшій у двери солдатъ хлопалъ каждого изъ насъ по спинѣ и громко считалъ: разъ, два, три...

Когда всѣ мы вышли на дворъ, человѣкѣ въ

полушубкѣ снова наскоро пересчиталъ насъ и велѣлъ идти за собой. Пожимаясь отъ холода, плохо одѣтые, безъ шапокъ, мы тронулись за нимъ. Ити пришлось не далеко... Онъ подвелъ насъ къ какому-то зданію, похожему съ виду на сарай, въ который ставятъ въ богатыхъ барскихъ имѣніяхъ экипажи, и, введя туда, сейчасъ же наглухо заперъ дверь...

Въ сараѣ было полутемно, сыро и пахло мукой. Прямо противъ двери, на противоположной сторонѣ, стояла печка. Въ печкѣ горѣли, потрескивая, дрова... Направо отъ двери стоялъ столъ, а на немъ жестяной чайникъ и нѣсколько штукъ бѣлыхъ кружекъ... Налѣво была дверь, ведущая въ другое помѣщеніе, гдѣ былъ устроенъ „приводъ“ или „воротъ“, посредствомъ котораго вертѣлся жерновъ. Мѣсто же, гдѣ засыпались зерна и сбѣгала по желобку мука, было устроено въ первомъ отдѣленіи около двери.

Приведшій насъ человѣкъ выбралъ изъ насъ одного круглолицаго, румянаго парня, назначилъ его „засышкой“, а намъ сказалъ:

— Становись, братцы, за дѣло. Посмѣнно... Двѣнадцать человѣкъ на смѣну, по трое къ вагъ... Часъ провертите — отдыхъ... курить... Другая смѣна встанетъ.. Ну, маршъ.!

Мы, двѣнадцать человѣкъ, по его приказанію вошли въ помѣщеніе, гдѣ находился „приводъ“,

и запряглись въ лямки по трое, какъ онъ выразился, къ каждой „вагѣ“.

— Ну, съ Богомъ!.. Ходи веселѣй!..

Мы налегли на лямки и тронулись.

Затрещали шестеренки, закрипѣли „ваги“, затрясса полъ.

— Эй!.. гопъ! но, но!.. налягъ!.. но, родные!— закричалъ на насъ, точно на лошадей, человѣкъ въ полушубкѣ, — пошелъ!.. не бось!..

Сдѣлавъ три или четыре круга, я почувствовалъ, какъ у меня въ груди спирается дыханіе и трясутся ноги, — до того трудно и тяжело было вертѣть этотъ проклятый жерновъ!..

Меня, какъ человѣка высокаго роста, запрягли въ корень, а на пристяжку „поддужныя“ съ обѣихъ сторонъ попались какіе-то истомленные, лѣтъ по 18-ти, парнишки. Обѣ эти пристяжки, согнувшись, тяжело дыша и глядя въ землю, перли впередъ, а ихъ перло назадъ... Досадно и жалко было глядѣть на нихъ.

Впереди насъ, кряхтя и охая, тоже шла тройка. Въ корню, — здоровый и широкоплечій, бородатый мужикъ, а на пристяжкѣ слѣва — рыжеволосый, съ распухшей щекой и подбитымъ глазомъ парень, а съ правой стороны — высокій татаринъ, одѣтый въ собственный костюмъ... Татаринъ этотъ, какъ оказалось, былъ человѣкъ веселаго нрава. Звали его Абдулка. Вертя жерновъ, онъ кричалъ что-то

на своемъ непонятномъ для насъ языкѣ, прыгалъ, скакалъ, держалъ голову на бокъ, какъ заправская пристыжная, ржалъ, подражая лошади, и вообще „чудилъ“, потѣшая и развлекаая насъ.

Но мнѣ, да и вообще всѣмъ намъ, было не до смѣха. У всѣхъ, кажется, была одна и та же мысль: поскорѣй бы прошелъ часъ и дали бы отдохнуть.

— Ходы! Эй, ходы, ходы!—оралъ татаринъ.— Н-о-о-о, робатушка!.. О-го-го!..

Вертясь кругомъ, мы подняли съ полу пыль, которая лѣзла въ ротъ и носъ... Скоро стало темнѣть. Мельникъ зажегъ лампочку и повѣсилъ ее на стѣнѣ. При этомъ слабomъ, трепетномъ освѣщеніи, картина получилась какая-то фантастическая. Художникъ, который бы перенесъ на полотно эти сѣрыя стѣны, полусвѣтъ, пыль, насъ, согнувшихся, налегающихъ на лямки, наши разнообразныя, злыя, жалкія, потныя лица,—могъ бы смѣло рассчитывать на успѣхъ...

Прошелъ часъ... Усталые и злые, мы, толкаясь въ дверяхъ, бросились въ первое отдѣленіе отдыхать. На наше мѣсто впряглись въ лямки другіе двѣнадцать человекъ... Усѣвшись около топившейся печки, мы потребовали у мельника платы за трудъ—курить... Онъ свернулъ двѣ собачьихъ ножки и, подавая намъ, сказалъ:

— Курите, братцы, на шестерыхъ по крючку!

Мы раздѣлились на два кружка и встали по шести человѣкъ въ каждомъ. Молодой, худощавый парнишка, досталъ изъ печки уголь, зажегъ папироску и, жадно затянувшись, стараясь глотать дымъ такъ, чтобы ни одна капля его не пропадала даромъ, передалъ сосѣду. Сосѣдъ глотнулъ и передалъ слѣдующему. Когда, такимъ порядкомъ, папироска обошла всѣхъ и очутилась снова у того, который закуривалъ, отъ нея остался только небольшой окурокъ...

— Ну, други,—сказалъ парнишка, разглядывая его,—какъ быть? хватить на всѣхъ еще по разу, аль нѣтъ?

— А ты соси да другимъ давай!—сказалъ угрюмый чернобородый мужикъ.—Неча его даромъ-то жечь. По затяжкѣ, надо быть, хватить,—добавилъ онъ.

Парнишка поглядѣлъ на окурокъ и потянулъ изъ него такъ, что провалились щеки. Угрюмый мужикъ схватилъ его за руку и крикнулъ:

— Ты что-жъ это, дьяволъ, одинъ хошь слопать, а?!

— На, чорты! жри,—тяжело переводя духъ и передавая ему окурокъ, отвѣчилъ парнишка,—хватить и тебѣ... Испугался, идолъ!..

Покуривъ, мы уѣли около печки отдыхать. Татаринъ Абдулка, кривляясь и дѣлая смѣшныя рожи, сталъ уморительно рассказывать про свои

похожденія. Намъ въ особенности нравились его рассказы про толстыхъ женщинъ... Чортъ знаетъ, какія подробности передавалъ онъ своимъ ломанымъ языкомъ. Невозможно было слушать его безъ смѣха. Смѣялись всѣ, смѣялся даже серьезный мельникъ... Разсказчика, въ видѣ поощренія, ругали, называли чортомъ, дьяволомъ, татарской мордой,—все это онъ принималъ, какъ должное, съ видимымъ удовольствіемъ, точно актеръ, которому неистово аплодируютъ въ театрѣ...

Подъ егосказни мы незамѣтили, какъ прошелъ часъ, и опять надо было идти вертѣть жерновъ...

Эта египетская работа, съ часовыми передышками и съ платой за нее глоткомъ вонючаго дыма для того лишь, чтобы на минуту одурѣть,—тянулась до вечера. Подъ конецъ насъ угостили мутной, съ чернымъ отстоемъ на днѣ кружекъ, „цыкой“ и такимъ же порядкомъ, какъ привели сюда, пересчитавъ и провѣривъ, погнали снова въ камеру.

На лѣстницахъ и по корридорамъ вездѣ ярко горѣли огни. Намъ пришлось проходить мимо камеры для привилегированныхъ. Тамъ было свѣтло и чисто. Стояли кровати съ бѣлыми подушками и съ байковыми сѣрыми одѣялами. Какой-то благообразный господинъ съ рыжеватой клинообразной бородкой, похожій на Сенкевича, сидѣлъ за столомъ и кушалъ чай—съ бѣлой французской

булкой... Когда мы проходили мимо двери, онъ поднялъ голову и, прищурившись, поглядѣлъ на насъ, изобразивъ на лицѣ какую-то брезгливую и презрительную гримасу.

— Ишь, дьяволъ,—сказалъ одинъ изъ насъ,— чай жреть съ булкой: не нашъ, братъ...

— Имъ вездѣ хорошо, чертямъ!—отвѣтилъ на это угрюмый чернобородый мужикъ.— Жуликъ, небось, а кто я?.. баринъ!.. тьфу!.. разтудить ихъ всѣхъ-то!..

— Бѣдному вездѣ одна честь,—сказалъ еще кто-то:—въ зубы да въ морду...

— Н-н-н-да!—подтвердилъ четвертый,—дѣла... дѣла божьи, судъ царевъ... о-хо-хо!.. Видно, братцы, когда издохнемъ, тогда отдохнемъ...

— Проходи, проходи!—крикнулъ надзиратель, отворивъ дверь въ камеру,—живо!... Ну, поворачивайся ты, чортъ большой!.. Жулье несчастное!.. подохнуть бы вамъ... надоѣли до смерти!..

XVII.

Насталъ, наконецъ, день отправки этапа въ Москву.

Утромъ подняли насъ рано—часу въ четвертомъ. Отправлявшаяся партія была огромная, человекъ въ пятьсотъ. Всѣхъ надо было провѣрить по спискамъ, переписать, раздать на дорогу пайки

хлѣба. Время за этимъ дѣломъ шло безконечно долго.

Наконецъ, когда кончилась эта измучившая всѣхъ канитель, когда всѣ мы получили по пайкѣ хлѣба и по кусочку мяса, приколотому лучинкой къ хлѣбу, насъ попарно вывели на тюремный дворъ и, построивъ опять, принялись считать... Пересчитыванье тянулось долго. Конвойные ругались и толкали насъ, покорно сносившихъ это обращеніе.

Наконецъ, кончили... Отворили ворота, партія тронулась со двора на улицу...

За воротами опять построили по другому. Конвойные солдаты съ обнаженными саблями разставились вокругъ партіи...

Погодя немного, раздалась команда конвойнаго начальника, и мы тронулись...

Впереди шли солдаты, за ними, бренча цѣпями, кандальные, за кандальными еще какіе-то скованные только въ поручни, а за ними уже мы, т. е. всякій сбродъ, одѣтый кто въ свою одежду, кто въ казенную.

Сзади всѣхъ трусили двѣ бабенки. Одна, съ подбитыми глазами, опухшая и страшная; другая помоложе, худая, блѣдная, съ огромными испуганными глазами.. За ними и по бокамъ партіи шли провожатые, родные и знакомые.

Утро стояло сѣрое и холодное. Шелъ не то дождь, не то какая-то мелкая крупа, больно хле-

ставшая по лицамъ. Солдаты шли ходко. Шли опять какими-то пустырями, печальными и малоллюдными. Ряды за рядами двигались скорымъ шагомъ, возбуждая въ прохожихъ и жалость, и страхъ. .

Мнѣ было невыносимо тяжело съ непривычки сознавать себя частью этой толпы. Мнѣ было стыдно, какъ будто я сдѣлалъ, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь постыдное, въ родѣ грабежа или кражи. Казалось, что всѣ прохожіе глядятъ на меня, какъ на вора или душегуба ..

Къ вокзалу насъ провели сквозъ какія-то ворота, какими-то задворками и остановили около арестантскихъ вагоновъ, съ маленькими, подъ самой крышей оконцами, задѣланными желѣзными рѣшетками.

Здѣсь, около вагоновъ, произошла продолжительная остановка. Какіе-то люди, высокая тучная женщина и двое мужчинъ, поджидали партію, стоя около корзинъ, наполненныхъ бѣлыми хлѣбами, калачами, баранками и пр. Насъ построили въ ряды, человѣкъ по пятнадцати въ каждомъ, и женщина съ двумя мужчинами торопливо начала одѣлать „подаваніемъ“...

Арестанты, волнуясь и спѣша, хватали, почти рвали изъ рукъ у нихъ это подаваніе. Кто пряталъ его за пазуху, а кто сейчасъ же съ голодной жадностью принимался пожирать, торопливо глотая и озираясь на другихъ.

Помню, — мнѣ достался бѣлый французскій хлѣбъ и штукъ пять большихъ баранокъ. Хлѣбъ я спряталъ, а баранки сейчасъ же съѣлъ, отламывая и глотая отъ нихъ по кусочку, съ чувствомъ какого-то невыразимо-остраго наслажденія. Смѣшно сказать, но я чувствовалъ, какъ какая-то странная, тихая радость загоралась въ моемъ сердцѣ, по мѣрѣ того, какъ я, кусокъ за кускомъ, наполнялъ свой тощій желудокъ этими вкусными, давно невиданными баранками. Погруженный въ это наслажденіе, я не обращалъ вниманія, что дѣлалось вокругъ, позабылъ, что я арестантъ и что меня сейчасъ загонятъ, какъ скотину, въ грязный вагонъ и повезутъ куда-то, не обращая вниманія на то, хочу я этого или нѣтъ.

Крикъ конвойнаго вывелъ меня изъ этого пріятнаго забытья.

Конвойный начальникъ кричалъ, ругаясь гадкими словами, чтобы мы не толкались зря, а входили въ вагоны по порядку.

Волнуясь и спѣша, какъ одурѣлые, полѣзли мы въ вагоны, торопясь поскорѣе занять мѣсто.

Въ вагонѣ, около дверей, съ обѣихъ сторонъ, было по солдату. Солдаты эти равнодушно глядѣли на нашу толкотню, какъ на привычное и надѣвшее имъ зрѣлище ..

Когда, наконецъ, вагонъ, въ который попалъ я, переполнился людьми такъ, что негдѣ стало по-

вернуться, двери заперли, и между арестантами пошелъ, какъ говорится, дымъ коромысломъ...

Конвойные солдаты мѣняли наше подаваніе на табакъ. За двѣ французскихъ булки можно было получить что-то около восьмушки махорки.

Скоро весь вагонъ переполнился табачнымъ дымомъ. Сдѣлалось жарко и невыносимо душно. Крикъ, шумъ, пѣсни, ругательства, хохотъ, неслись со всѣхъ сторонъ. Лица людей, красныя, потныя, возбужденныя, мелькали передъ глазами...

Когда, наконецъ, послѣ третьяго звонка, поѣздъ тронулся, я перекрестился и сказалъ:

— Слава Тебѣ Господи, наконецъ-то!..

Точно гора какая-то свалилась съ плечъ..

— Братцы! — закричалъ на весь вагонъ высокій съ блестящими глазами арестантъ. — Увозятъ!.. Прощай, Питеръ!.. Го, го, го!.. до свиданья!.. Увидимся скоро... Кому булку за табакъ, а?! Эй!.. кому булку!.. Булку, булку, булку!..

XVIII.

Поѣздъ сталъ замедлять ходъ, подходя къ станціи. Старшій конвойный солдатъ, заспанный и злой, щуря глаза, снова вошелъ въ нашъ вагонъ и опять крикнулъ:

— Петровъ! Крысинъ! Готовьтесь, слѣзать вамъ!

Я поднялся съ мѣста и всталъ. Крысинъ, ста-

рикъ съ длинной сѣдой бородой, о которомъ я говорилъ вначалѣ, не тронулся... Онъ остался сидѣть въ прежней позѣ.

— Крысинъ! — заоралъ конвойный, — не тебѣ, что ли, говорятъ-то, собака!.. Не слышишь, что ли?!

— Слышу! — отозвался старикъ глухимъ голосомъ.

— Чего-жъ ты не встаешь?..

— Встану, когда надо

— Ахъ ты, собака, сволочь!.. — еще шибче заоралъ конвойный и со злобой ударилъ его ногой по спинѣ.

Старикъ повернулъ къ нему лицо и тихо, но какъ-то особенно внушительно сказалъ:

— Ударь еще. . Покажи свою власть надо мной, старикомъ.. Эхъ, ты!.. аль у тебя отца не было?.. Стыдно, братъ!..

— Ну, ну, помалкивай!—гораздо тише и мягче сказалъ конвойный,—мнѣ тутъ съ тобой некогда бобы-то разводить. Васъ, чертей, вонъ сколько.. Обозлишься съ вами. Народъ-то вы больно хороший!.. Прозѣвай, голову сорвете!..

— Народъ вездѣ одинъ,—сказалъ старикъ, тяжело поднимаясь съ полу, — что ты, что я, одно дерьмо-то... А за грѣхи мои я самъ передъ Господомъ отвѣтъ дамъ, не тебѣ судить... Всѣ мы люди.. Поне я арестантъ, а завтра ты имъ будешь.. Такъ то, другъ!.. „Многая у Господа милость и многое

у него избавленіе и той избавить Израиля отъ всѣхъ беззаконій его!..“ Ну вотъ, землячокъ, мы съ тобой и пріѣхали, — добавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Сейчасъ насъ опять въ тюрьму поволочутъ... О-хо-хо!.. Ну, слѣзай, что ли?..

— Сейчасъ! — отвѣтилъ конвойный. — Не торопись.

Поѣздъ остановился. Мы вышли изъ вагона и спустились по ступенькамъ не на платформу, а прямо на землю... Налѣво, на вокзалѣ мелькали огни, бѣжали люди, шла обычная въ такихъ случаяхъ суета... Здѣсь же, гдѣ высадили насъ, было тихо, только холодный, пронзительный вѣтеръ жалобнымъ воемъ, крутя снѣгъ, точно плача, встрѣтилъ насъ, да трое дожидавшихся конвойныхъ солдатъ, обругавъ насъ скверными словами и не давъ опомниться, повели въ тюрьму.

Было поздно, городъ спалъ, луны не было видно за облаками, но свѣтъ ея, холодный и мертвый, тихо лился на спящій городъ, придавая всему чрезвычайно тоскливый видъ.. Печально и грустно глядѣли темные домишки; въ пустыхъ улицахъ гулялъ вѣтеръ, наметая сугробы снѣга... Гдѣ-то вдали жалобно выла собака, гдѣ-то пропѣлъ пѣтухъ...

Я шелъ, скорчившись въ своемъ лѣтнемъ пальто. Мнѣ было страшно холодно, и тихая, щемящая грусть заползала въ душу... Шедшіи сбоку,

по правую отъ меня руку, старикъ тоже жался отъ холода, безпрестанно спотыкался и фыркалъ носомъ, точно плакалъ.

Высокій, плотный солдатъ, должно быть, старшій, шедшій впереди, всю дорогу ругалъ насъ отвратительными словами. Я слушалъ его ругательства и сознавалъ, что „лаетъ“ онъ насъ за дѣло.

— Покою отъ васъ, дьяволовъ, нѣтъ, — говорилъ онъ, — нѣтъ того разу, чтобы кого да не пригнали... И чего васъ чортъ въ Питеръ носить?.. Зачѣмъ?.. Вотъ завтра тащись съ вами за 60 верстъ, по эдакой-то погодѣ. Хорошій хозяинъ собаки не выгонитъ... Чортъ васъ задави!.. тьфу! жись собачья, хуже арестантской!..

Шли мы долго. Отъ вокзала до тюрьмы было не близко. По приходѣ насъ не сразу впустили: старшій солдатъ долго дергалъ за звонокъ и ругался, прежде чѣмъ отперли.

— Опять есть? — спросилъ кто-то, отворивъ дверь.

— А когда ихъ не было-то, дьяволовъ? — отвѣтилъ солдатъ.

— Тьфу! — громко плюнулъ кто-то, — окаянная сила! И откуда берутся? Точно, прости Господи, вшей на гашникѣ... Покою нѣтъ!.. Ночь — полночь — канителься!.. Проходи скорѣй!.. Да ну, вшивые черти, поворачивайся! Дамъ вотъ по шеѣ, — до но-

выхъ крестинъ не забудешь!..—Проведя тюремнымъ дворомъ, насъ ввели въ какую-то полутемную, захлтую комнату. Съ деревянной скамьи поднялся высокій, шаршавый человѣкъ. Зѣвая, онъ принялъ отъ солдата бумаги и, окинувъ насъ заспанными глазами, сказалъ:

— Дьяволы!..

Послѣ этого привѣтствія онъ лѣниво ощущалъ насъ и повелъ по лѣстницѣ наверхъ. Наверху, тамъ, гдѣ кончалась лѣстница и начинался корридоръ направо и налево, полутемный, съ обычнымъ отвратительнымъ „острожнымъ“ запахомъ, сидѣлъ на табуреткѣ дежурный и клевалъ носомъ.

— Кузьма! — окрикнулъ его приведшій насъ человѣкъ,—проснись!.. Сваты пріѣхали...

Кузьма поднялся съ табуретки, оглянулъ насъ и спросилъ:

— Погода знать на дворъ-то, а?

— Стрась!—отвѣтилъ приведшій насъ и добавилъ:—А ихъ вотъ чортъ носить!

— Н-н-да, дѣло казенное, — проговорилъ дежурный и, поглядѣвъ на насъ сонными глазами, добавилъ:—Ну, соколы, пожалуйста!..

Онъ повелъ насъ по корридору направо и остановился передъ небольшой, грязной дверью съ отверстіемъ посрединѣ. Сквозь эту дырку шелъ слабый свѣтъ изнутри. Гремя засовомъ,

солдатъ, не торопясь, отперъ дверь и сказалъ, распахнувъ ее:

— Пожалуйте! для васъ покойчикъ!..

И, пропустивъ насъ, громко захлопнулъ дверь, заперъ ее опять и ушелъ, скребя по полу корридора сапогами, на свое мѣсто, къ лѣстницѣ, на табуретку.

XIX.

„Покойчикъ“, въ которомъ мы очутились, была узкая, загаженная, съ однимъ окномъ, вонючая каморка. Почти половину этой каморки занимала голая досчатая койка, на которой, подложивъ подъ голову руки, лежалъ какой-то въ изодранномъ, грязномъ бѣлѣ рыжій человѣкъ и, глядя на насъ, ядовито усмѣхался.

Около койки стоялъ столикъ, на немъ жестяная, съ закоптѣлымъ, разбитымъ до половины стекломъ, лампочка... Въ углу, около порога, стояла неизбежная „парашка“.

Войдя, я бросилъ свой арестантскій блинъ-шапку на столъ и сѣлъ на полу въ уголъ... Старикъ постоялъ немного посреди каморки, о чемъ-то думая, и тоже сѣлъ рядомъ со мною, принявъ почти такую же, какъ давеча въ вагонѣ, задумчивую позу.

Рыжій человѣкъ, лежавшій на койкѣ, повер-

нулся на бокъ въ нашу сторону и, немного помолчавъ, пристально глядя на насъ большими выпуклыми глазами, насмѣшливо спросилъ у меня:

— Куда изволите отправляться, синьоръ?

Я сказалъ.

— Подлый городишко!—сказалъ онъ.—А сей мужъ?—кивнулъ онъ на старика.

— Тоже.

Онъ замолчалъ, запустилъ обѣ руки за пазуху грязной рубахи, поскребъ тамъ ногтями, морщась и хмурия брови, и опять спросилъ:

— На улицѣ какъ, холодно?..

— Холодно.

— Гм! А я вотъ лежу здѣсь одинъ... скучища, не спится. Васъ тамъ на полу обсыпять. Если хотите, я могу потѣсниться, на койкѣ двоимъ мѣста хватить...

— Зачѣмъ же,—сказалъ я,—все равно...

Мы замолчали. Гдѣ-то въ углу заскребла мышь, въ корридорѣ закашлялъ дежурный...

— И чортъ знаетъ, для чего эдакая тварь на свѣтъ произведена?! — воскликнулъ онъ вдругъ такъ неожиданно и громко, что я вздрогнулъ.

— Какая тварь?

— Вши!..

— Отъ Бога на пользу она! — глухо и глядя въ полъ, произнесъ мой старикъ.

— Вша-то?..

— Живешь хорошо — нѣтъ ея, — продолжалъ старикъ, — а напала на тебя тоска, и она тутъ. Откуда взялась, а?

— Отъ Бога? — насмѣшливо произнесъ рыжій.

— Все отъ Бога... А то отъ кого-жь?

— Какая же отъ нея польза-то?

— А та и польза — не зазнавайся! Знай, значить, что тебя во всякое время вша ѣсть можетъ...

— А умремъ — черви съѣдятъ! — засмѣялся рыжій, — такъ, что ли?!

— А умремъ — черви съѣдятъ! — подтвердилъ старикъ, — это вѣрно... Такъ и надо нашему поганому тѣлу, чтобъ его и заживо, и замертво всякая нечисть ѣла... Душа нужна! — добавилъ онъ, помолчавъ.

— Душа? — переспросилъ рыжій и, тоже помолчавъ, добавилъ: — Ты кто?

— Я?.. Человѣкъ, аль не видишь?

— Вижу — человѣкъ изъ какихъ?.. Кто? Званіе твое?.. Мужикъ, мѣщанинъ? Кутейникъ?..

— Такой же, какъ и ты, полевой дворянинъ, — сказалъ старикъ и началъ снимать съ себя рваное пальто. — Спать пора, — сказалъ онъ, — ложись-ка, землячокъ, намъ съ тобой утромъ идти надо: заправляйся, отдыхай.

— Не хочется что-то! — сказалъ я.

— Что такъ? — спросилъ старикъ и, взглянувъ на меня, добавилъ, — аль скучно?

Я промолчалъ.

— А ты не скучай. Брось! Э, милый, милый, чего въ жизни не бываетъ. Да, поживешь—узнаешь. Умный пѣшкомъ ходить, дуракъ въ каретѣ ѣздить.. Да!

— А ты умный?—сказалъ рыжій, дѣлая папирску.

Старикъ ничего не отвѣтилъ и, вставъ, началъ молиться Богу въ уголъ, гдѣ висѣла маленькая икона.

— „Къ тебѣ пречистой Божіей Матери азъ, окаянный, припадая, молюся,—громко читалъ онъ, крестясь и кланаясь: —вѣси, Царице, яко безпрестанно согрѣшаю, прогнѣвляю Сына Твоего и Бога моего, — онъ опустился на колѣни и голосомъ, въ которомъ дрожали слезы, продолжалъ: — И многожды еще каюся, ложь предъ Богомъ обрѣтаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразить мя“.

— Святъ мужъ, брось!—сказалъ рыжій, лежа навзничъ и пуская дымъ въ потолокъ.—И безъ тебя тошно! Брось, вотъ появился! Что онъ изъ духовныхъ, что ли?—обратился онъ ко мнѣ,—монахъ, что ли, какой?

Я промолчалъ. Старикъ, не обращая вниманія на его слова, продолжалъ молиться. Слова молитвы звучали странно въ этой тухлой, загаженной каморкѣ.

— Что за человѣкъ?—думалось мнѣ,—какая его жизнь?...

Окончивъ молитву, онъ молча, не глядя на насъ, разостлалъ на полу пальто, снялъ съ ногъ холодные съ короткими голенищами сапоги, оглядѣлъ подошвы, разматалъ подвѣртки и, подложивъ все это подъ голову, кряхтя и вздыхая, легъ на бокъ лицомъ къ двери.

— А вы?—спросилъ рыжій.

— Я... я посижу.

— Вы курите?..

— Курю.

— Не угодно ли?

Онъ далъ мнѣ окурокъ и легъ опять на бокъ.

— Тоска! —сказалъ онъ,—смерть! Не спится. Скорѣй-бы разсвѣтало... Лѣзетъ въ голову всякая чертовщина!..

— А вы давно здѣсь?—спросилъ я.

— Да вотъ уже третьи сутки.

— А отсюда куда же васъ?—спросилъ я.

— Куда? Да не знаю еще, не намѣтилъ.

— То-есть какъ—не намѣтилъ?

— Да такъ, мнѣ вѣдь все равно. Куда захочу, туда и отправятъ. Я, напримѣръ, сюда попалъ изъ Романова. Ну, а теперь думаю куда-нибудь подальше... на югъ... Меня, понимаете, изъ города въ городъ перевозятъ на казенный счетъ, какъ министра путей сообщенія. Гораздо лучше, чѣмъ пѣшкомъ ходить.

— Да какъ-же вы это устраиваете?

— Да очень просто: вру. Я, напимѣрь, родомъ изъ... впрочемъ, откуда я родомъ, это для васъ все равно. На какой мнѣ чортъ, спрашивается, родина? Что я тамъ не видалъ? Что буду дѣлать?.. Паспорта у меня нѣтъ. Почему знаютъ, откуда я, — изъ Ржева или изъ Старицы? Скажу старицкій мѣщанинъ, — меня туда... Являюсь. „Ты кто?“ — Такой-то и такой-то. — „Ты здѣшній?“ — Нѣтъ. „Какъ же ты, подлецъ, означался здѣшнимъ, а?“ — Молчу. — „Откуда же ты, подлецъ?“ Изъ Бѣлозерска. — „Отправитъ его, сукина сына, въ Бѣлозерскъ! Чортъ съ нимъ! Не держать же здѣсь“... Чудно вѣдь, а?

— Чудно, дѣйствительно.

— Теперь зимой ходить — подлая самая штука, — продолжалъ онъ, перевертываясь навзничь, — идешь полемъ гдѣ-нибудь, одѣяніе плохое, вѣтеръ, холодно, сѣро, глухо, противно! „Нѣтъ въ отчизнѣ моей красоты. Все намеки одни да черты, все неясно, не кончено въ ней, начиная отъ самыхъ людей“... Тоска! Идешь и думаешь, думаешь, думаешь!.. Гадко!..

— Да и такъ-то тоже не весело, — сказалъ я, оглядывая его.

Онъ подумалъ что-то и, усмѣхнувшись, сказалъ:

— Конечно!.. Ну да, впрочемъ, привычка.. Ко всякой вѣдь подлости привыкнуть можно. Писа-

тель это какой-то нашъ російскій сказалъ, Достоевскій, кажись... И вѣрно. А я, по правдѣ вамъ скажу, съ дѣтства самаго, такъ сказать, полюбилъ подлости. Я вотъ до вашего прихода лежалъ здѣсь, да все и думалъ... Всю жизнь вспомнилъ, чудно! Какія только я штуки раздѣлывалъ! Да!...

— Вспомнилось мнѣ, напримѣръ, какъ разъ, давно это было, въ дѣтствѣ, пошелъ я въ рожъ и нашелъ тамъ на межѣ гнѣздышко. Не знаю, какая птичка... птенчики въ немъ были, маленькіе такіе, какъ сейчасъ гляжу, пять штукъ, ротика желтенькіе, пищать... Посмотрѣлъ я, посмотрѣлъ на нихъ, взялъ одного за ноги да и разорвалъ пополамъ... Любопытно!.. Другого взялъ, разорвалъ, да такъ со всѣми и покончилъ... Покончилъ, поклалъ ихъ въ гнѣздо, отошелъ въ сторону, легъ въ рожъ, жду, что будетъ. Прилетѣла, гляжу, птичка: чирикъ, чирикъ! Нѣтъ, молчокъ. не отзываются дѣтки! Скачетъ она около гнѣзда, чирикаетъ: чирикъ, чирикъ! точно плачетъ... А я гляжу. Гляжу—прилетѣла другая, и начали они вмѣстѣ бѣгать кругомъ гнѣзда; бѣгали, бѣгали... Только вижу: вскочила одна на край гнѣзда и суетъ въ ротъ птенчику что-то. А у него голова одна только да ротъ раскрытъ, а туловища-то нѣтъ, оторвано!..

Онъ посмотрѣлъ на меня, помолчалъ и, почесавъ до колѣна обнаженную ногу, продолжалъ:

— Варваръ!.. А то разъ кошку убилъ, т. е. не

убилъ, а такъ только спину ей перешибъ: рыжая такая, помню, кошка сидитъ около дровъ, грѣется на солнышкѣ... Взялъ я палку, подкрался—разъ ее! Только хрустнуло, хотѣла было она вскочить, не можетъ. Какъ замаячить! И все рвется: побѣжать хотеть, а не можетъ: хребетъ я ей перешибъ.

Онъ опять замолчалъ и вопросительно посмотрѣлъ на меня, ожидая, что я скажу на это. Я молчалъ, думая: зачѣмъ это онъ говорить?..

Онъ вдругъ прищурилъ глаза и, громко засмѣявшись, сказалъ:

— Глупости я говорю. Не правда ли? И къ чему весь этотъ разговоръ?

— Не знаю!—сказалъ я.

— А потѣшиться-то, — воскликнулъ онъ, — эхъ, синьоръ, надо же вѣдь какъ-нибудь. Я люблю...

Онъ опять разсмѣялся, и все лицо его покраснѣло отъ этого смѣха.—Слушайте-ка, какую я вамъ исторію про себя расскажу. Пришло мнѣ на умъ, вспомнилъ я, лежа тутъ. Хотите, — расскажу?

— Говорите, коли не лѣнь.

— Ладно, посмѣиваясь, началъ онъ: — Было мнѣ лѣтъ эдакъ 19-ть... Жилъ я тогда у родителя своего, теперь онъ покойникъ, дай ему Богъ всего хорошаго. Лодырничалъ, жилъ, ничего не дѣлалъ. Надо вамъ сказать, меня отдавали въ науку, да

не вышло дѣло: выгнали за неспособность, а по правдѣ сказать — за лѣнь. Ну, куда-жъ дѣться? Явился къ родителю. — „Живи, говорилъ, сукинъ сынъ. Пастухомъ будешь“. — Сталъ жить.. Надо вамъ замѣтить, что родитель мой жилъ у одного барина въ имѣніи управляющимъ.. Строгій былъ человѣкъ, изъ бывшихъ крѣпостныхъ холоуевъ, понятія у него самыя дикія были. Ну, можете представить, какая моя жизнь была. А у барина, надо вамъ сказать, тоже сынокъ былъ въ моихъ-же годахъ и такой-же оболтусъ, какъ и я. Сошлись мы съ нимъ. Научился я отъ него кое-чему. Н-да! Научился! И, видя его жизнь сладкую, озлобился... Думаю: вѣдь не дурнѣе же я его, а почему-же такая разница? И возненавидѣлъ я жизнь свою, опостылѣло мнѣ все какъ-то. Дома на меня никто не обращалъ ни малѣйшаго вниманія, родитель такъ и звалъ: „лодырь“. Можете понять, какъ мое самолюбіе страдало... Терпѣлъ я, сторонился, въ лѣсъ убѣгалъ, въ рожь, цѣлые дни въ лѣсу проводилъ. Возѣму изъ барской библіотеки романъ какой-нибудь и уйду. Особый какой-то міръ у меня сложился, и жилъ я въ этомъ мірѣ одинъ со своими думами. А ихъ, думъ-то, было много, много!..

...Лѣтомъ мнѣ вообще хорошо было. Любилъ я природу. Да, по совѣсти сказать, и теперь люблю. И теперь мое заскорузлое сердце дрожить, когда

я иду одинъ гдѣ-нибудь полемъ, лѣтнимъ днемъ, жаворонки поютъ, трава шепчется. Да... Ну за то зимой плохо мнѣ было: все дома, уйти некуда, ругань, попреки. И тосковалъ же я!

...И вотъ однажды, какъ сейчасъ помню, было это въ самый крещенскій сочельникъ, рѣшился я ни больше, ни меньше, какъ покончить съ жизнью... Странно какъ-то было. Точно задумалъ уйти куда-нибудь на прогулку, а не на тотъ свѣтъ. Да у меня, впрочемъ, все странно!—добавилъ онъ и провелъ рукой по лицу.

— Утромъ ушелъ изъ дому такъ, куда глаза глядятъ, мятель была, вѣтеръ, холодъ. Отошелъ верстъ шесть, не замѣтилъ какъ, опомнился, посмотрѣлъ кругомъ, — нѣтъ поле, направо кусты орѣшника. И пришла мнѣ вдругъ, понимаете, мысль сойти съ дороги, отойти шаговъ двадцать и лечь въ снѣгъ. Схвачу, думалъ, горячку, проваляюсь недѣлю и капуть. А когда, думалъ, помирать буду, когда соберутся около меня родные, я имъ и скажу, отчего умираю. На-те, молъ, вамъ!..

...Ну ладно, такъ я и сдѣлалъ. Отошелъ съ дороги въ сторону, снялъ полушубокъ, снялъ куртку, поднялъ рубашу и легъ въ снѣгъ лѣвымъ бокомъ. И вотъ, когда легъ, то вдругъ подумалъ, что это я такъ себѣ только дѣлаю, т. е. тѣшу себя, и что это ничего не значить, и что не простужусь я.

...Собственно-то говоря, когда думалъ я еще только лечь въ снѣгъ, такъ ужъ эта мысль сидѣла въ головѣ моей. Но зачѣмъ-же, спрашивается, я такъ дѣлалъ?.. Помню, когда я ложился въ снѣгъ и легъ съ цѣлью простудиться, то не думалъ вовсе о простудѣ, а совсѣмъ о другомъ думалъ. Я думалъ, что у меня въ лѣвомъ тепломъ сапогѣ стелька протерлась. Потомъ, помню, взглянувши на дорогу, я подумалъ, что хорошо бы, кабы по ней, т. е. по дорогѣ-то, поѣхалъ сейчасъ генералъ или князь какой-нибудь, который бы увидалъ меня, слѣзъ бы съ саней и, подойдя ко мнѣ, спросилъ бы: „что вы тутъ дѣлаете?“ А я приподнялся бы и сказалъ: а вамъ какое дѣло? Убирайтесь къ чорту!.. Ерунда какая, а?

Онъ помолчалъ, свернулъ папиросу и сѣлъ на койкѣ, прислонившись спиной къ стѣнѣ и сложивъ ноги калачемъ, по-турецки.

— Послѣ этого,—началъ онъ опять,—мои мысли постепенно перешли на то, какъ я заболѣю, какъ стану ухаживать за мной, плакать, а я скажу: „Вотъ какъ помираю, такъ плачете, а то говорили: чтобъ ты издохъ“!..

...Передъ смертью, думалъ я, хорошо бы взять листъ бумаги и написать что-нибудь въ родѣ: „вырыта заступомъ яма глубокая“, или „милый, другъ, я умираю“. Для того написать, чтобы сказали послѣ моей кончины: „Господи, какой онъ чело-

вѣкъ-то былъ славный и умный какой былъ, а вотъ не умѣли мы цѣнить его, и померъ“.

...Говорять такъ, а я будто мертвый-то все это слышу, и мнѣ это очень нравится. Въ комнату, гдѣ лежу я, народъ ходитъ, глядятъ на меня, иные говорятъ: „Ишь, какъ живой лежитъ“. Старикашка Блоха, обыкновенно занимавшійся чтеніемъ псалтири надъ покойниками, стоитъ неподалеку отъ меня и читаетъ какъ-то въ носъ слова пѣсни царя Давида: „въ беззаконіяхъ зачатъ есмь и во грѣсѣхъ роди мя мати моя“. Все это я слышу.

...Днемъ мнѣ лежать очень весело, а ночью, наоборотъ, скучно. Въ комнатѣ сдѣлается тихо, тихо. Блоха почитаетъ, почитаетъ и замолчитъ, засопитъ носомъ, опуститъ голову, потомъ вдругъ опомнится, тряхнетъ головой, перекрестится, взглянетъ съ испугомъ въ мою сторону и опять начнетъ торопливо читать что-нибудь. За печкой ему вторитъ сверчокъ, за стѣной тикаетъ маятникъ нашихъ огромныхъ старинныхъ часовъ, однообразно и настойчиво, рѣдко, точно выговариваетъ кто глухимъ голосомъ, считая: разъ! два! разъ! два!

...Но вотъ, я пролежалъ двое сутокъ. Завтра, значить, хоронить станутъ. Утромъ пришелъ попъ, стали съ дьячкомъ служить панихиду. Народу въ комнату набилось много, и у всѣхъ свѣчи горятъ и такъ-то отъ этихъ свѣчей душно!.. Вотъ кончи-

лась панихида, стали подходить ко мнѣ прощаться, нѣкоторые плачутъ. Вотъ и Блоха лѣзетъ и сильно отъ него водкой разить. Потомъ подняли гробъ, понесли вонъ. На порогъ, слышу, говорятъ: „тише тутъ, не задѣнь краемъ“. Принесли въ церковь, отслужили обѣдню, отпѣли, стали снова прощаться, цѣлуютъ, а я думаю: вотъ оно послѣднее-то лобзаніе!..

Вотъ закрыли гробъ крышкой; слышу: Андрюшка Гусакъ шепчетъ кому-то: „гдѣ молотокъ-то? Давай!“ Застучали молоткомъ по гвоздямъ. Одинъ гвоздь не попалъ въ край гроба, а проскочилъ внутрь и воткнулся въ подушку, на которой лежитъ голова моя. Кончили, понесли на кладбище. Слышу, опускаютъ въ яму. Слышу—говорить батька: „земля-бо есть“, и вслѣдъ за этимъ ударились въ крышку первая брошенная имъ горсть земли, закапываютъ! Сначала шибко стучить земля, а потомъ все тише и глуше. И вотъ, наконецъ, тишина, ужасная тишина, мертвая тишина! Вотъ когда конецъ-то!

Онъ замолчалъ, что-то думая. Лежавшій на полу старикъ завозился и сѣлъ, упершись локтями въ колѣни.

— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ! — глухо проговорилъ онъ.

— Лежу я,—снова началъ рыжій,—долго лежу, и вотъ начинаютъ появляться черви въ гробу. Откуда они берутся—не знаю, только я чувствую

какъ они ползуть по моему тѣлу, холодные, мокрые, скользкіе, ббрр!.. Много ихъ и все разные: толстые, тонкіе, длинные, короткіе, и вотъ всѣ они начинаютъ точить мое тѣло, вотъ всего они меня съѣли, кости одни остались, черепъ лежить, ощеривъ зубы; вотъ рухнула на меня земля и придавила, кости отскочили одна отъ другой, и черепъ лежить уже не навзничъ, а на боку, и страшно глядятъ двѣ дыры, гдѣ были когда-то глаза, въ черную холодную землю! О-о-хъ!..

Онъ замолчалъ и перевелъ духъ. Я вздрогнулъ. Нелѣпый рассказъ странно овладѣвалъ мною, какъ кошмаръ.

— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!—опять проговорилъ старикъ.

— Что же дальше?—спросилъ я

— Что дальше? Да что: страшно мнѣ стало, вскочилъ я, одѣлся да поскорѣй домой, и ничего... не простудился вѣдь.

Онъ замолчалъ и легъ навзничъ. Старикъ тоже легъ. Въ каморкѣ стало тихо. Только слышно было, какъ съ улицы по стекламъ стучить сухой снѣгъ да глухо шумить вѣтеръ. Я снялъ пальто и, подставъ его, тоже легъ. Но не спалось. Мы всѣ трое лежали и думали каждый свои думы, и всѣмъ намъ, кажется, было одинаково тоскливо, постыло и жутко.

— Семень!—окликнулъ меня старикъ.

— Что?

— Не спишь?

— Нѣтъ.

— А ты спи! Спи, я тебѣ говорю!

— А ты что не спишь? — спросилъ рыжій и, обернувшись ко мнѣ, произнесъ:—жутко, а?!

— Что жутко?—спросилъ я.

— Такъ, вообще, жить жутко!.. Люди-то ужъ больно того...

— Не суди людей,—сказалъ старикъ и опять сѣлъ,—не суди, грѣхъ!.. Не люди виноваты, а мы сами.. Мы то нешто лучше, а? Подумай-ка!

Рыжій засмѣялся и, махнувъ рукой, сказалъ:

— Всѣ хороши! Чудакъ! Да развѣ я себя хвалю: я самъ подлецъ; такъ я говорю, вообще... Потому видалъ кое-что на своемъ вѣку, всего было...

— Что-жъ ты не живешь, какъ должно?—опять сказалъ старикъ,—зачѣмъ бродяжничаешь? Православныхъ объѣдаешь...

— Зачѣмъ, зачѣмъ!.. такъ стало быть, надо!...

— А давно вы такъ-то?—спросилъ я.

— Что?

— Ходите?..

— Да ужъ давненько! — Онъ помолчалъ и, обратившись къ старику, сказалъ: — Я тебѣ, старикъ, скажу, какой разъ со мной случай былъ, и какой я подлецъ есть. Слушай-ка. Жилъ я тогда въ Москвѣ, хорошо жилъ... только пилъ сильно..

Какъ я свихнулся и на эту дорогу попалъ, по которой теперь хожу, я вамъ расскажу послѣ, а теперь вотъ мнѣ вспомнился одинъ случай. Шелъ я, помню, разъ передъ вечеромъ домой по бульвару полупьяный, и попался мнѣ навстрѣчу человѣкъ одинъ, не молодой ужъ, одѣтъ прилично, лицо пріятное и страсть какое грустное... Поровнялся со мной, — а шелъ-то я не по главной аллеѣ, а по боковой, въ сторонкѣ, и гуляющихъ здѣсь не было, — посмотрѣлъ да и говорить мнѣ потихоньку: „Будьте добры, дайте на хлѣбъ. Не ѣлъ вторыя сутки“. Остановился я, посмотрѣлъ на него, вижу: человѣкъ не вретъ... И странная мнѣ пришла мысль въ голову, странная и ужасно подлая! Захотѣлось мнѣ унижить этого человѣка и посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ...

Досталъ я три рубля, показалъ ему и говорю: „вотъ, говорю, я вамъ отдамъ эти три рубля, если вы встанете на колѣни и сапогъ у меня поцѣлуете“... А самъ эдакъ ногу впередъ выставилъ...

...Посмотрѣлъ онъ на меня, трясутся, вижу, у него губы и поблѣднѣлъ весь; подумалъ, подумалъ, вижу, трудно ему, борется... однако, кончилъ тѣмъ, что опустилсѣ на колѣнки и поцѣловалъ сапогъ... А я его эдакъ будто нечаянно по носу сапогомъ-то чикъ!—Извини, говорю, не нарочно. Отдалъ ему деньги... Взялъ онъ и говорить: „Мужикъ ты“! Такъ это меня взорвало... „А вотъ, говорю, хоть и

мужикъ, а деньги-то ты у этого мужика взялъ да еще и ногу поцѣловалъ.“— „Мнѣ, говорить, жрать нечего. Не я цѣлую, а голодъ. У меня, говорить, жена, дѣти, мать слѣпая“.—Эка штука, отвѣчаю, мнѣ кабы и жрать нечего было, такъ я бы и то не сталъ этого дѣлать, что ты сейчасъ сдѣлалъ... вотъ тебѣ и „мужикъ“... А ты дворянинъ, что ли?.. Плюю я на тебя...

И пошелъ отъ него прочь... Только слышу, догоняетъ онъ меня... Сопитъ, какъ запаленная лошадь.

— На, говорить, возьми свои деньги назадъ... Стыдно тебѣ, когда-нибудь будетъ... вспомнишь, мерзавецъ, это. — „Что-жъ, говорю, давай. Я ихъ вотъ на землю брошу, а ты поднимешь“. — Подлецъ ты, говорить, мерзавецъ. Ты самъ поднимаешь...—и швырнулъ деньги на землю.—Нагнулся я, поднялъ и говорю:

— „Задаромъ ногу-то, значить, поцѣловалъ“.— Засмѣялся и пошелъ отъ него прочь. Отошелъ шаговъ десять, оглянулся, стоитъ онъ, смотритъ на меня. Остановился я и крикнулъ ему:— „А жена-то съ дѣтишками все-таки не жрамши будутъ“!.. и пошелъ, не оглядываясь... Хорошъ эпизодецъ, а?..

Онъ замолчалъ и посмотрѣлъ на насъ. Я ничего не сказалъ, а старикъ подумалъ и сказалъ:

— Нашелъ чѣмъ хвастать... Подлецъ и есть!

— Ну то-то же! Да мало ли,—началъ опять

рыжій,—что со мной бывало и что я продѣлывалъ, пока не попалъ на свою настоящую точку... Я давеча говорилъ вамъ,—обернулся онъ ко мнѣ,—что у меня отецъ строгій былъ, бывшій крѣпостной... Понятія у него самыя дикія были. Хамъ, однимъ словомъ, съ ногъ до головы, царство ему небесное, не тѣмъ будь помянуть. Жилъ я у него лѣтъ эдакъ до двадцати трехъ и надоѣлъ ему до смерти... Видитъ онъ, что я дѣлать ничего не хочу, а только книжки читаю, да барина изъ себя корчу. прогналъ меня. Говоритъ: „Ступай отъ меня ко всѣмъ чертямъ. Не стану я тебя держать... Добывай себѣ хлѣбъ. Можетъ, узнаешь, какъ люди живутъ, очухаешься“. Далъ мнѣ деньжонокъ и того... выставилъ!—„Ищи, говоритъ, мѣсто. Люди ищутъ, находятъ“.—Ну, отправился я въ Москву, кое-какіе знакомые были, просить сталъ. Пріискали мнѣ мѣсто, въ магазинъ къ купцу одному. Сталъ я жить, приглядываться. И скоро постигъ купца этого! Понравился ему. Полюбилъ онъ меня... Стали у меня деньжонки водиться. Одѣлся франтомъ, водочку сталъ попивать, мѣста разныя эдакія узналъ, вошелъ во вкусъ... Прожилъ годъ, со всѣмъ привыкъ, въ выручку сталъ лазить... Умѣлъ скрывать. Хозяинъ во мнѣ просто души не чаялъ.—„Честный ты, говоритъ, Мишутка, парень“.—Ладно, думаю, честный!.. Разъ, помню, у насъ разговоръ былъ... Онъ говоритъ: „Вотъ мнѣ, это ему-то то

есть, люди за добро зломъ платятъ. Не одинъ разъ такъ было“. А я, понимаете, такое удивленное лицо сдѣлалъ и спрашиваю:—„Да неужели, Иванъ Петровичъ, такіе люди есть? Господи, да какъ же это—за добро зломъ?!“—„А ты, думаешь, какъ? Эхъ ты, говоритъ, Емеля, простота!“ и по плечу меня похлопалъ. „Жизни ты, братъ, не знаешь, простъ! Материно молоко на губахъ не обсохло“... Слушаю я его, разиня ротъ. А онъ-то, дурья голова, передо мной распинается. Эхъ ты, думаю, скотина, дуракъ!—Ну, ладно, такъ и жилъ я. Знакомство у меня завелось и, между прочимъ, одна сваха, т. е., собственно говоря, и не сваха, а прямо-таки сводня. Познакомился я съ ней, и вотъ тутъ у меня романъ затѣялся... Пошло все къ чорту, и свихнулся я. Объ этомъ вотъ я вамъ и расскажу сейчасъ.. Хотите?.. Дѣдъ, хошь, а?..

— Болтай ужъ, коли затѣялъ!—отозвался старикъ и добавилъ:—ври, Емеля, твоя недѣля!

— Я, братъ, не вру, а правду говорю. Ну ладно. Слушайте.

Онъ опять сѣлъ, прислонившись спиной къ стѣнѣ, и заговорилъ

XX.

— Есть російская гадкая поговорка: „деньги не Богъ, а милуютъ больше“... Въ большой модѣ эта

поговорка. Вотъ, соображаясь, такъ сказать, съ этой поговоркой, я и жилъ, т. е. исключительно жилъ для денегъ... выше и лучше ихъ для меня ничего не было... Хорошо-съ. И вотъ, когда у меня такія понятія были, сошелся я съ дѣвушкой, впрочемъ, даже и не съ дѣвушкой, а съ дѣвочкой, ей еще и шестнадцати не было... Сваха-то та, про которую говорилъ, свела меня съ ней... Стоило мнѣ это удовольствіе рублей... ну, десять, т. е. свихъ въ зубы за хлопоты.

...Помню все это дѣло въ праздникъ было, на Рождествѣ, на третій, кажется, день. Былъ я у свахи въ гостяхъ съ товарищемъ: ну, пили, много пили и вдругъ, понимаете, приходитъ эта дѣвушка... все это сводня раньше подстроила. Просилъ я ее. Робкая такая, вижу, дѣвушка... краснѣетъ... жметъ, говорить боится... А хорошенькая, прелесть! Упросилъ я ее посидѣть съ нами... вина предложилъ... Не хочетъ... приставать сталъ выпить... И сводня говорить: „Да выпей, говорить, Груня!.. Рюмочку-то ужъ авось ничего... Обручъ съ тебя отъ нея не соскочить“— „Да я, отвѣчаетъ, не пила отъ роду.“— „Ну что-жъ такое, а ты выпей, не хорошо ломаться передъ кавалерами“.

Послалъ я кухарку за портвейномъ, за виноградомъ, вообще за лакомствомъ.. и, понимаете, ухитрился ей въ рюмку портвейну водки влить на половину. Выпила она, выпила потому, что

боялась не выпить. — „Какъ же, молъ, вѣдь просятъ“. — Есть такія натуры и среди нашего брата мужчинъ, которые отказаться не могутъ... безхарактерность это, что ли?.. Ну-съ, выпила она и того, готова, опьянѣла... Много ли ей, цыпленку, надѡ. Я еще подлилъ... „Чокнемтесь, говорю, за того, кто любить кого“. Эдакой вѣдь саврасъ былъ!.. Она только смѣется и розовенькая такая сдѣлалась—чудо! Выпили еще... Сдѣлалась она совсѣмъ готова. Шепчетъ мнѣ сваха въ ухо, какъ злой духъ:—„Теперь ваше дѣло, не зѣвайте“!.. Поднялся я съ дивана и говорю: пойдемъ теперь, Груня, въ манежъ.—„Ахъ, что вы, говорить, стыдно“. — Надѣлъ я на нее безо всякихъ разговоровъ пальтишко ея старенькое, взялъ за руку, вывелъ на улицу, нанялъ извозчика и того... въ номера...

Проснулся по утру, гляжу: сидитъ она на кровати, голову руками обхватила и рыдаетъ, волосы у ней, какъ лентъ, растрепались, а тѣло все такъ ходуномъ и ходитъ.—Объ чемъ ты?—спрашиваю.

Ничего она не отвѣтила, только затряслась еще шибче да сквозь всхлипыванья, какъ малый ребенокъ, лепечетъ: „Мамочка, мамочка, ахъ, мамочка“. — Лежу я, руки подъ голову подложилъ, поглядываю... жду, что будетъ... И вдругъ, понимаете, мнѣ захотѣлось ее еще больше унижить.— „Будетъ тебѣ, говорю, чего ты ревешь-то? Не первый чай разъ?.. Давай-ка выпьемъ! — Посмотрѣла

она на меня... А рожа у меня въ тѣ поры нахаль-
ная была: румяная, гладкая... Посмотрѣла да и го-
ворить:—А мнѣ сказывали, что вы добрый!..—„А
что-жъ, злой, что-ли“?—Не честный... за что вы
меня обидѣли? — А ты зачѣмъ шла, дура? Вотъ
позову сюда кого надо, да желтый билетъ и дамъ.

Посмотрѣла она на меня, помолчала да и го-
ворить — ни дать, ни взять, какъ тотъ человѣкъ
на бульварѣ, которому я трешницу далъ:—„Под-
лецъ ты! Рыжая твоя морда безстыжая“!..—А, такъ
ты вотъ какъ, говорю, хорошо же! Вотъ я сейчасъ
позвоню. Скажу лакею, чтобы призвалъ кого надо.

Взялъ да и позвонилъ. Она какъ заплачетъ!
Такъ и упала на подушки... Вошелъ лакей.—„При-
неси говорю, водки“.

Ушелъ онъ. Подняла она голову, глядитъ на
меня.—„Зачѣмъ вы, говорить, за водкой послали?..

— „А тебѣ какое дѣло?

— „Такъ я.

— „Молчать! — говорю. Заставлю тебя пить и
будешь пить!.. А ты, небось, струсил... Думала
насчетъ билета.

— „Ничего я, отвѣчаетъ, не струсил, а со-
вѣстно мнѣ, что съ такимъ человѣкомъ сошлась.

— „Съ какимъ это человѣкомъ?

— „Съ вехорошимъ... У меня мамочка есть...
Господи, кабы узнала!..

— „Дура, говорю, мы вмѣстѣ теперь жить ста-

немъ... Я человѣкъ умный, со мной не пропадешь.
Чѣмъ занимаешься?

— „Портниха.

— „У хозяйки живешь?

— „Да.

— „Сколько получаешь?

— „Пять.

— „А сейчасъ при тебѣ деньги есть?

— „Есть.

— „Сколько?

— „Полтора рубля.

— „Давай!

— „Зачѣмъ?

— „Давай!.. надо... Жалко?

— „Это у меня на платокъ.

— „Давай!.. Надо же за номеръ отдать... Не стану я одинъ платить... За всякую шкуру да плати... Я деньги-то трудомъ добываю, не такъ, какъ ты... затылкомъ наволочки стираешь...

Заплакала она опять. Кошелекъ, однако, достала, вынула изъ него деньги...

— „На, говорить, только отпусти меня, Христа ради“!

Онъ замолчалъ и потупился. Лицо его какъ-то потемнѣло. Онъ сжалъ кулакъ и стукнулъ имъ по койкѣ такъ, что задрожали доски.

— Давно все это было,—заговорилъ онъ,—но какъ вспомню—гадко мнѣ станетъ, точно кто-то

по голому тѣлу щеткой проведетъ... б-ррры!.. Ну, ладно... Просится она... Что-жъ, спрашиваю, противень я тебѣ?

Молчить. Я опять: „противень“? Молчить. Тутъ лакей вошелъ, принесъ водку. Всталъ я, одѣлся... налилъ рюмки.

— „Пей!—говорю.

— „Не могу!

— „Пей, шкура, убью!

— „Оставьте меня, говорить, Христа ради! Я бѣдная... за что обижаете? Господи, Господи! Ахъ я, дура, несчастная!..

— „Пей, сволочь, а то на голову вылью!

Плачетъ она. Христа ради просить, чтобы отпустилъ ее. Взялъ я рюмку и, понимаете, какъ плесну ей въ лицо водкой.

— „Врешь—не пьешь, махонькую пропустишь!

Закрыла она лицо руками. Стою я, гляжу на нее и вдругъ, понимаете, захотѣлось мнѣ по другому надъ ней помытариться. Думаю: что будетъ?.. Опустился я передъ ней на колѣни

— „Груня, прости... не по злобѣ я... прости!

Ноги у ней съ пьяныхъ-то глазъ цѣлую. Сѣла она... глядитъ на меня, какъ безумная... Глядѣла, глядѣла, потомъ, знаете, положила руку свою ко мнѣ на голову, гладитъ, какъ ребенка, а сама говоритъ:

— „Что вы? что вы? Мнѣ стыдно!

А я, вотъ истинный Господь, не вру, какъ заплачу вдругъ... понимаете, словно оборвалось у меня что-то въ груди... А она гладитъ меня по головѣ и плачетъ тоже... слова ласковыя говорить... это за то, что я опозорилъ ее... Дѣвочка святая!

Онъ опять замолчалъ и, торопясь, трясущимися руками свернулъ папироску и, закуривъ, продолжалъ:

— Ну, и того... полюбилъ я ее съ той поры... Но только полюбилъ себѣ на муку, а ужъ про нее и говорить нечего... Привязалась она ко мнѣ, какъ собака... вся мнѣ отдалась и душой, и тѣломъ... Стали мы съ ней жить вмѣстѣ на одной квартирѣ... Машинку я ей купилъ швейную... Работать она стала... Прожили мы съ ней такъ ладно около года, потомъ все пошло подъ гору, къ чорту. Началось съ того, что сталъ я ее ревновать... Глупо, дико ревновать... мучить сталъ... ругать сталъ... бить... Напьюсь пьяный и ну придираяться... Кусать ее начну... по щекамъ бить... плеваться... а она молчить! Это молчаніе-то ея еще больше меня бѣсило. Точно каменная... Смотритъ только, какъ пришибленная... Скажетъ иногда, впрочемъ: „Помру я скоро... избавлю тебя“.

Онъ провелъ рукой по лицу и, переведа духъ, началъ опять говорить.

— Да, скоро это случилось: пить я сталъ силь-

но... развратничать... самъ подлости дѣлаю, а ей запрещаю изъ дому лишній разъ выйти... Денегъ не стало хватать мнѣ... воровать началъ... Разъ цапнулъ сотню цѣлую и попался: увидали.. Хозяинъ все не вѣрилъ.. Да пришлось повѣрить.— „Подлецъ ты, говорить, а я думалъ—честный. Хитрая ты, бестія“... Ну, помятное дѣло, прогналъ меня съ позоромъ въ шею изъ магазина. „Надо бы, говорить, тебя подъ судъ, да ужъ чортъ съ тобой, не хочу связываться!“

...Сталъ я мѣста другого искать... Нѣтъ мѣста!.. Ей не рассказываю... Злость на меня напала: и всю эту злость свою я на нее выливалъ, какъ помои на паршивую собаку...

Однако, стала она догадываться, что безъ дѣловъ я. Иногда спросить: „Ну какъ ты съ хозяиномъ?“— А тебѣ какое дѣло?—отвѣчу. Денегъ нѣтъ... что дѣлать? Началъ вещи таскать — закладывать... Заложу, а деньги пропью... и чѣмъ больше пью, тѣмъ мнѣ гаже все... Особливо утромъ... мука!.. Пьяный я вообще не покойный, гадкій, страшный. Ухаживаетъ она за мной, раздѣнетъ, уложить... „Да, чортъ тебя возьми, кричу ей, съ твоимъ ухаживаньемъ-то!.. бей меня! рѣжь! кусай! только не ухаживай, Христа ради!“

...Очумѣлъ... Допился до кошмара... Лежу ночью, вдругъ слышу въ ухо мнѣ кричить кто-то: „Степановъ! Степановъ! Степановъ!“—страшно громко...

Ужасъ! Наконецъ, нечего стало закладывать... и не на что пить... Вотъ тутъ-то я за нее и принялся, т. е. понимаете, цѣлыхъ почти два года, до самой ея смерти, кормила она меня, поила, обувала и одѣвала... Билъ я ее... охъ, какъ я билъ ее, вспомнить страшно! Смертнымъ боемъ билъ! Да... терпѣла вѣдь... Цѣлый день работаетъ... ночь работаетъ... Надо за квартиру отдать... жрать надо... мало ли, что надо... папирось мнѣ надо... водки... безобразіе, однимъ словомъ!

...Ну, ладно... пришелъ конецъ.. померла она! Родами померла... Цѣлый мѣсяцъ передъ этимъ нездорова была... извелась вся... высохла... кости да кожа... А я въ это время взялъ, да пальтишко у ней послѣднее пропилъ... Она больная, страдаетъ, а я пьяный... До нищеты дѣло дошло... уголъ грязный, вшивый, съ клопами... вонь!

...Помню, ночью она родила, выкинула мертвую дѣвочку.. за три дня до Рождества Христова... Кричала какъ... и я тутъ былъ, да старуха какая-то... померла въ эту же ночь!.. Что мнѣ дѣлать? Хоронить не на что... Поцѣловалъ я ее, помню, въ губы холодныя, да потихоньку, какъ воръ, и ушелъ... Ушелъ и ужъ больше не возвращался... Кто ее хоронилъ? гдѣ? какъ? не знаю!

Сначала я съ себя пиджакъ продалъ, пропилъ... И началось съ тѣхъ поръ, и началось! Хитровка... грязь... одурь какая-то... тоска смертная... бродяжни-

чество, куда глаза глядятъ... голодъ... холодъ... тюрьмы... и вотъ, какъ видите, весь тутъ... дошелъ, какъ говорится, до дѣла... больше ужъ идти некуда и нѣтъ, кажись, ничего ужъ такого, чего бы я не перенесъ на своей шкурѣ... Выпита чаша до дна... осталось разбить ее только... Такъ-то!..

Онъ замолчалъ и легъ навзничъ, положивъ подъ голову руки. Коптѣвшая и плохо свѣтившая лампочка вдругъ догорѣла и тихо погасла. Въ каморкѣ стало темно... Мы молчали... Мышь заскреблась сильнѣе...

— Догорѣла!—тихо сказалъ онъ и, помолчавъ, добавилъ:—и жизнь наша такъ же вотъ догоритъ и тихо погаснетъ, никому ненужная... Давайте-ка спать, братцы, пора!

— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ!—проворчалъ старикъ, укладываясь на полу.—Семень, спишь?!

— Нѣтъ.

— А ты спи... Что не спишь? Не думай... брось... спи... идти намъ съ тобой далече...

XXI.

Утромъ, когда совсѣмъ разсвѣло, солдатъ-надзиратель отперъ дверь, вошелъ въ каморку, взялъ со стола лампочку, обругалъ насъ матерными

словами, велѣлъ подмести полъ и вынести „парашку“.

Когда онъ ушелъ, мы посмотрѣли другъ на друга, думая одно и то же, кому выносить ее?..

— Я ужъ таскалъ,—сказалъ рыжій послѣ продолжительнаго молчанія,—какъ хотите, чередъ за вами!

— Что-жъ, Семенъ,—сказалъ старикъ,— я постарше тебя... неси... Я бы и снесъ, да у меня, признаться, руки дрожатъ... расплескаешь!.. Въ зубы натычуть... тащи ужъ ты!..

Дѣлать было нечего; я взялъ „парашку“ за ручку и потащилъ. Въ корридоръ попался навстрѣчу какой-то краснорожій, здоровый арестантъ и, увидя меня, сказалъ:

— Волоки, братъ, волоки... дѣло хорошее! все не дарма хлѣбъ-то казенный жрать станешь... го, го, го!

— Что-жъ, давайте съ горя попьемъ хоть кипяточку! — сказалъ рыжій, когда я снова возвратился въ каморку.—Все оно какъ-то повеселѣе на душѣ будетъ.

— Чайку бы теперь! — сказалъ старикъ, — съ хлѣбцемъ... гоже!..

— Чайку! — передразнилъ его рыжій, — чайку дома попьешь... Дома - то тебѣ, небось, рады будутъ... а? ха, ха! Ахъ ты, Магометъ пятнадцатый! Водочки тоже, небось, гоже бы было, а?..

Онъ досталъ изъ-подъ койки большой жестяной, почернѣвшій отъ грязи, чайникъ и пошелъ куда-то за кипяткомъ. Возвратившись съ кипяткомъ, онъ ушелъ опять и скоро принесъ три чайныхъ чашки. Поставя все это на столъ, онъ улыбнулся и сказалъ:

— Чай подавъ... пожалуйста!..

Мы усѣлись пить „чай“. Я и старикъ на полу, а рыжій на койкѣ.

— Сахарку бы кусочекъ вотъ эдакой,—сказалъ старикъ,—все бы не такъ жгло... О, Господи!.. До чего мы, ребята, сами себя допустить можемъ... А все что? Все простота наша насъ губить. Недаромъ пословица-то молвится: „простота хуже воровства“.

— Н-н-н-да!—согласился рыжій, какъ-то необыкновенно громко, угломъ рта схлебывая съ блюда „чай“.—Вѣрно это... просты мы...

— Выпьемъ,—продолжалъ философствовать старикъ,—всѣ родные... Что хошь съ нами дѣлай... что хошь бери... для всѣхъ душа на распашку, какъ дверь въ кабакъ, входи, пей!..

— Мы-то такъ,—согласился рыжій,—да для насъ то не такъ. Нашего брата, какъ звѣря, каждый чортъ словить да въ шею накласть норовить... А ужъ эти мужики подлые, хуже всѣхъ...

— Строго стало!—сказалъ старикъ.

— Имъ что, чертямъ,—продолжалъ рыжій,—у

нихъ и земство, и земля, и все, а у насъ? Ночевать не пускають безъ паспорта, подлецы!— Кто ты такой будешь? Видъ кажи“. А, чортъ ихъ возьми, подлецовъ! Нѣтъ хуже дикарей этихъ да еще поповъ... Подлый народъ!..

— Нашего-то брата очень много,—сказалъ старикъ:—Сила!.. Одолѣли!

— Ну, такъ что же?...

— Ну и того... кому охота дармоѣдовъ-то кормить.

Слово „кормить“ напомнило намъ, что мы страшно голодны.

— Полощешь кишки-то водой, — сказалъ старикъ, — а какая польза?.. Пожевать бы теперь... тьфу!..

— Колбаски бы, — кривя усмѣшкой ротъ, сказалъ рыжій и, плюнувъ на полъ, добавилъ: —экая жизнь подлая... собачья!..

— Авось, померемъ скоро!—тихо и задумчиво произнесъ старикъ, — тогда, значить, всему крышка!..

— Ты-то, можетъ, и скоро померешь,—отвѣтилъ рыжій, почти съ завистью глядя на него, — вонъ ты какой старый и плохой... недолго тебѣ.

— Дай-то, Господи, поскорѣй бы!—молитвенно произнесъ старикъ и перекрестился, — дай-то, Господи!—Онъ вздохнулъ, крѣпко зажмурилъ глаза, задумался о чемъ-то...

. Вскорѣ намъ принесли обѣдъ. Въ большой деревянной чашкѣ была налита постная похлебка, сваренная съ селедочными головами... Похлебка эта была покрыта какой-то рыжеватой ржавчиной, вѣроятно, потому, что селедочныя головы были ржавыя и, какъ были, грязныя, вонючія, такъ ихъ и положили въ котелъ. „Сожрутъ, молъ: не господа!“..

Мы съ жадностью голодныхъ собакъ набросились на эту похлебку и, опорожнивъ то, что было въ чашкѣ,—а было для троихъ очень немного — почувствовали, что страшно голодны.

— Пообѣдали!—съ ироніей вымолвилъ рыжій, сидя на койкѣ и болтая ногами.

— Слава Тебѣ, Господи!—добавилъ старикъ:—заморили червячка!.. теперь, гляди, на питье потянетъ...

— Дьяволы!—выругался рыжій и, сердито плюнувъ, началъ вертѣть папироску...

XXII.

Не прошло и часа послѣ обѣда, какъ насъ со старикомъ потребовали внизъ, въ ту комнату, въ которую привели вчера вечеромъ съ вокзала. Тамъ сидѣлъ тотъ же человѣкъ, который принялъ насъ вчера... Кромѣ его, въ комнатѣ было два солдата... Около печки, въ углу стояли ружья, а на лавкѣ лежали желѣзные „баранки“.

Солдаты были одѣты въ шинели съ башлыками. На ногахъ у нихъ были валенки, а на рукахъ варежки. Посмотрѣвъ на нихъ, я догадался, что это конвойные, которые поведутъ насъ.

Принявшій насъ вчера человѣкъ выдалъ одному изъ нихъ какія-то бумаги и сказалъ:

— Ну, съ Богомъ.

— Мнѣ бы вотъ полушубокъ, — сказалъ мой старикъ, — не дойти мнѣ такъ-то, студено!..

— Ладно! дойдешь и такъ, не великъ баринъ-то! Серега! — обратился онъ къ солдату. — Надѣнь на нихъ баранки.

— Небось, не убѣжимъ и такъ! — сказалъ старикъ.

— Ладно! Толкуй, кто откуль .. выдали мы медали-то, а кресты-то нашивали...

Солдатъ взялъ со скамьи поручни и надѣлъ мнѣ на правую руку, а старику на лѣвую.

— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ, — сказалъ, тяжело вздохнувши, старикъ и перекрестился на висѣвшую въ углу икону. — Мучители вы! Какъ мнѣ идти-то на старости лѣтъ, подумали бы. Ай мы какіе разбойники... куда намъ бѣчь-то? Намъ бѣчь-то некуда.

— Не разговаривать! — крикнулъ старшой, — старый чортъ! Серега! — обратился онъ снова къ солдату, — получай кормовыя...

Онъ вынулъ изъ кошелька двадцать копѣекъ мѣдью и подалъ солдату.

— Ну, готовы?

— Готовы!—отвѣтилъ солдатъ.

— Съ Богомъ, маршъ!..

Солдаты взяли ружья, вложили въ казенники по боевому патрону и, посторонившись, пропустили насъ впередъ въ дверь.

Выйдя за ворота на улицу, одинъ изъ нихъ пошелъ впереди, другой позади насъ.

Намъ со старикомъ идти было ужасно неловко. Старикъ спотыкался и вязъ въ глубокомъ снѣгу, дергая меня за руку до боли. Попадавшіеся навстрѣчу немногочисленные прохожіе тарасили на насъ глаза.

На душѣ у меня было гадко и стыдно.

— Господа служивые, — взмолился, наконецъ, старикъ, и въ голосъ его задрожали слезы, — кавалеры, не знаю, какъ и величать васъ. Ослобоните вы насъ, Христа ради! Поимѣйте жалость. Смерть! О, Господи помилуй!..

Шедшій передомъ солдатъ полуобернулся и сказалъ:

— Погоди, старикъ, не скули, выдемъ за городъ, сыму, дай городомъ пройти.

Пройдя длинную, пустынную улицу, миновавъ кузницы, какіе то огороды, мы вышли, наконецъ, въ поле и, пройдя немного по большой дорогѣ, свернули влѣво на проселокъ. Здѣсь солдаты остановились, и одинъ изъ нихъ снялъ съ насъ „ба-

ранки“. После этого мы пошли дальше. Идти было тяжело. Погода стояла холодная. Дулъ пронзительный вѣтеръ навстрѣчу. Дорогу передувало. Ноги вязали въ снѣгу мѣстами по колѣно. Плохо одѣтое тѣло сильно зябло, въ особенности лицо и руки. Идти навстрѣчу вѣтру приходилось, нагнувшись, и дѣлать усилія, точно пробиваясь сквозь что то. Мнѣ было жалко старика. Онъ шелъ, согнувшись, засунувъ руки въ рукава, жалкій, трясущійся. Хорошо и тепло одѣтые солдаты, перекинувъ за плечо ружья, твердыми, привычными шагами торопливо шли впередъ, перекидываясь словами, относившимися къ погодѣ, къ дорогѣ.

Намъ со старикомъ было не до разговоровъ. Чѣмъ дальше шли мы, тѣмъ становилось труднѣе.

Ноги вязали и заплетались. За голенища худыхъ сапогъ насыпался снѣгъ.

— Господи помилуй!—шепталъ старикъ,—Господи, Владыко живота моего, спаси, сохрани. О, Владычица!

На него тяжело было смотрѣть. Старый, согнувшись, трясущійся, онъ былъ похожъ на засохшую елку въ лѣсу, которую беспощадно треплеть непогода и которая жалобно скрипитъ и стонетъ точно плачетъ, жалуясь кому-то, вспоминая свою лучшую долю.

— Семень! Батюшка, отецъ родной!—закричалъ онъ вдругъ какимъ-то жалостнымъ, плачущимъ

голосомъ.—Да скоро ли деревня-то? Смерть моя... Сме-е-е-рты!...

— Шагай, шагай, старикъ!—крикнулъ солдатъ,—небось, умѣлъ кататься, умѣй и саночки возить.

— Я-то возилъ!—какъ-то громко, съ дрожью въ голосѣ завопилъ старикъ.—Я-то возилъ. Гляди, тебѣ не пришлось бы этакъ повозить. О, Господи, хоть бы сдохнуть.

Это „хоть бы сдохнуть“ онъ выкликнулъ такъ отчаянно жалобно, что мнѣ стало жутко. Очевидно, слово было сказано не зря, а какъ окончательный выводъ о жизни, которая не стоитъ ничего другого, какъ именно только „сдохнуть“.

— Не скули, старый чортъ. Дуй ты горой!—крикнулъ солдатъ, шедшій сзади,—и безъ тебя тошно. Диви, кто виноватъ. Самъ виноватъ. Молчи, песъ! Дери тебя дѣромъ.

Солдатъ сталъ ругаться матерными словами, жалуясь и проклиная насъ, свою долю и вьюгу.

А вьюга, точно на зло, разгулялась и расшумѣлась во всю. Воя и плача, она швырялась снѣгомъ, била насъ и, довольная своимъ дѣломъ, съ хохотомъ кружилась и плясала въ какой-то фантастично-отчаянной пляскѣ.

Въ воздухѣ всюду, куда ни посмотришь, стояла какая-то сѣрая колеблющаяся муть. Низкое свинцовое небо точно давило и хотѣло упасть на зем-

лю. По сторонамъ дороги торчали „вѣшки“ и росли какіе-то жалкіе кусты вереска. Вдали чернѣлъ лѣсъ. Къ этому лѣсу мы держали нашъ путь. Передовой солдатъ торопливо шагаль, не оглядываясь. Я не отставалъ отъ него, но старикъ сталъ отставать. Слышно было, какъ другой солдатъ ругаль его.

Наконецъ, мы вошли въ лѣсъ. Дорога пошла лучше. Стало тише. Лѣсъ былъ еловый, строевой; могучія, прямыя, какъ свѣчи, ели достигали необыкновенной вышины. Вѣтеръ шумѣлъ по вершинамъ, заставляя ихъ колыхаться и наполняя лѣсъ какими-то странными звуками: то слышался жалобный скрипъ, похожій на плачъ, то какъ будто кто-то вдали кричалъ и аукался. Сверху падали на дорогу, сшибленные вѣтромъ съ макушекъ, пушистые и мягкіе, какъ вата, хлопья снѣга, какъ будто кто-то сидѣлъ тамъ наверху и швырялся ими.

Мы пошли тише. Солдаты закурили. Я хотѣлъ тоже было свернуть папиросу, но не могъ, пальцы не дѣйствовали. Увидя это, солдатъ далъ мнѣ свою папиросу и сказалъ:

— На, курни, горе лукавое! Да вонъ и старику дай, ишь онъ замерзъ. Дѣдъ, замерзъ, что ли?

Старикъ потрясъ головой и какъ-то жалобно ухнулъ, точно филинъ.

Пройдя лѣсомъ версты двѣ, мы вышли на поляну, гдѣ стояла сторожка. Проходя мимо, мы

увидали бабу-сторожиху, тащившую на коромыслѣ ведра съ водой. Увидя насъ, она поставила ведра на тропку и, сложивъ на груди руки, закачала головой, выражая этимъ качаніемъ и жалость, и состраданіе, и удивленіе.

— Служивенькіе!—крикнула она, когда мы со всѣмъ поровнялись съ ней,—подьте, родные, въ избу, погрѣйтесь.—И потомъ, обратясь уже лично къ намъ, она жалобно добавила:—ахъ вы, несчастные арестантики, иззябли, чай, до смерти!..

— Нельзя, тетка заходить,—сказалъ солдатъ.— Шагай! шагай!—закричалъ онъ намъ.

— Погрѣться бы... вздохнуть,—вымолвилъ старикъ.

— Придешь на этапъ, нагрѣешься,—насмѣшливо сказалъ солдатъ.—Отдохнешь. Ну, маршъ!

Мы тронулись дальше. Баба стояла и качала головой, долго провожая насъ глазами.

XXIII.

Лѣсъ сталъ рѣдѣть и, чѣмъ ближе пододвигались мы къ опушкѣ, тѣмъ все хуже и хуже становилась дорога. Когда же, наконецъ, мы выбрались изъ лѣсу, то увидали, что дѣло наше совсѣмъ плохо: дорогу занесло и въ полѣ видно было только, какъ кружится и воетъ какая-то сѣрая муть.

Передовой солдатъ вязъ въ снѣгу и злобно ругался. Я, молча, стиснувъ зубы и вооружившись терпѣніемъ, шагаль за нимъ, стараясь попадать своими сапоженками въ его слѣдъ, похожій на слѣдъ медвѣдя. За мной поспѣшаль старикъ и сопѣль, и пыхтѣль, какъ лошадь, везущая возъ не подъ силу.

Такъ шли мы всѣ четверо, одинаково злые, одинаково недовольные, думая только о томъ, какъ бы поскорѣе добраться до мѣста, поѣсть, отогрѣться и лечь спать.

Дошли до деревни. Въ деревнѣ солдаты дали передышку. Они зашли за общественный „магазинъ“ и сѣли съ той стороны, откуда не дулъ вѣтеръ, на толстыя бревна, отдохнуть и покурить.

— А похоже,—сказаль одинъ изъ нихъ, вертя папироску,—не скоро мы доберемся до ночлега. Погода!

— Темно придемъ,—сказаль другой и, помолчавъ, добавилъ:—Эхъ, жизнь собачья! Води вотъ всякую сволочь, погода—иди.

— Да,—отвѣтилъ первый,—теперь бы дома, на печкѣ, эхъ-ма!..

Онъ махнулъ рукой и задумался, глядя вдаль.

Мы со старикомъ молчали. Я думаль о томъ, какъ приду домой, что буду говорить, что дѣлать. Какъ узнають о томъ, что меня пригнали этапомъ,

и какъ будутъ надо мной глумиться люди! На душѣ было горько.

Старикъ сидѣлъ, согнувшись, разставя ноги, низко опустивъ голову. Что думалъ онъ? Вся его согнувшаяся, жалкая фигура изображала молчаливое покорное страданіе.

— Ну, ребята, идемъ! — точно проснувшись, вскочилъ и крикнулъ солдатъ, — сиди не сиди, а идти надо. Пораньше придемъ... айда! Трогай, бѣлоногій.

Мы молча и нехотя тронулись. Дорога пошла въ гору. Вѣтеръ все такъ же дулъ навстрѣчу и валилъ съ ногъ. Мы шли, согнувшись, жалкіе и маленькіе, борясь, изнемогая и напрягая всѣ силы, чтобы двигаться, двигаться, двигаться!..

Между тѣмъ, стало темнѣть. Декабрьскій день коротокъ. Вдали мутно и неясно чернѣли кусты, мелкорослый осинникъ, какія-то кочки, и надъ всѣмъ этимъ стояла и заполняла собой все больше и больше начинавшая темнѣть, все та же колеблющаяся муть.

Усталые, переязбшіе и голодные, шли мы, а навстрѣчу намъ грозно двигалась холодная, темная ночь. И по мѣрѣ того, какъ она двигалась, на душѣ дѣлалось жутко и боязно.

— Эхъ, да и запоздаемъ мы здорово! — сказали солдатъ, шедшій впереди и, оглянувшись назадъ, крикнулъ: — Наляжь, ребята! Прибавь ходу.

— Издохнуть бы!—застоналъ опять старикъ.—
Не могу я больше... О-о-охъ, Господи.

-- Успѣешь издохнуть, погоди! — крикнулъ солдатъ,—а ты не робѣй, двумъ смертямъ не бывать, а одной не миновать!.. „Эхъ, ты, зимушка зима, морозная была“...—запѣлъ онъ вдругъ высокимъ голосомъ и такъ же сразу смолкъ, точно оборвалъ; похлопывая руку объ руку, онъ шагалъ впередъ, прибавляя шагъ.

XXIV.

— Ребята, не робѣй, огонь видать!—закричалъ передовой солдатъ.—Слава тебѣ, Господи!.. село, этапъ, малымъ дѣломъ помяться и крышка, отдыхъ.

Дѣйствительно, вдали сквозь мракъ, мелькали рѣдкіе огоньки, то пропадая, то опять вспыхивая, какъ звѣздочки.

-- Прибавь ходу!—крикнулъ снова солдатъ,—съ версту осталось, не больше. Запоздали мы здорово, гляди, какъ бы трактиръ не заперли.. Вотъ будетъ штука-то, Ивановъ, а?.

— Чай, не заперли,—сказалъ другой солдатъ,—а чайку теперь испить первый сортъ.

— Намъ хлѣбушка купите!—простоналъ старикъ.

— Хлѣбушка!—засмѣялся первый солдатъ,—

а ты тоже ѣсть хочешь? Я думалъ, ты совсѣмъ замерзъ, а ты, на ка-поди, хлѣба захотѣлъ... Ладно,—купимъ.

Придя въ село, мы прошли какую-то длинную пустынную улицу, на которой не было никого, кромѣ собакъ, злобно брехавшихъ на насъ, и, свернувъ направо, остановились у какого-то темнаго зданія.

— Контора,—сказалъ солдатъ,—волость, пришли, слава тебѣ, Господи... Ну, и погодуку Господь послалъ... Неужли Григорій дрыхнетъ, а?

— Небось, дрызнулъ здорово и спать,—сказалъ другой солдатъ,—что ему, гладкому, дѣлается... Ему хорошо... Не съ нашей собачьей жизнью сравнять... Отворай дверь-то, что ли, — добавилъ онъ,—чего всталъ?.. Небось, не заперто.

Первый солдатъ толкнулъ дверь, и мы слѣдомъ за нимъ вошли сначала въ темныя сѣни, а изъ сѣней уже въ контору.

Здѣсь принялъ насъ заспанный съ похмѣлья сторожъ и, долго оглядывая наши трясущіяся фигуры, сказалъ:

— Эхъ вы, дуй васъ горой, вшивые черти!.. Вшей только носите... Провалиться бы вамъ, жулье!.. Ну, идите, что ли... А, окаянная сила!..

Говоря эти любезныя слова, онъ провелъ насъ въ какую-то темную нору и сказалъ:

— Сичасъ огня дамъ... Посидите покамѣсть.

Онъ заперъ дверь, ушелъ и точно сквозь землю провалился. Мы сначала стояли, поджидая его, потомъ сѣли на полъ и сидѣли въ темнотѣ, не видя другъ друга и не зная, гдѣ мы находимся.

— Семень!—прошепталъ старикъ дрожащимъ голосомъ,—живъ ли, милый?..

— Живъ,—отвѣтилъ я,—только не знаю, гдѣ сидимъ?

— Гдѣ сидимъ... Въ холодной, надо думать. О, Господи, неужли и на томъ-то свѣтѣ насъ этакъ мучить стануть?!.. Владычица, холодно-то какъ!

Я молчалъ. Мнѣ слышно было, какъ дрожить старикъ, громко стучить зубами, ерзаетъ какъ то по полу, стараясь согрѣть свое старое тѣло.

— Иззябъ?—спросилъ я.

— Сме-е-е-рть!

— Хоть бы огня скорѣе!

— Песъ его знаетъ, провалился... Пьяный лѣшманъ ..

Наконецъ, пришелъ сторожъ, принесъ хлѣба, воды, и освѣтилъ насъ и нашъ клоповникъ свѣтомъ коптѣлки-лампочки.

— Вотъ вамъ и свѣтъ,—сказалъ онъ,—гожа бить вшей-то... свѣтло! Лампочку-то вонъ тамотка повѣсьте на стѣнку... Эна гвоздокъ-то... Спать ляжете, задуете... А то не трогъ, виситъ такъ... Ну, спокойной ночи!..

Онъ заперъ дверь и ушелъ. Мы остались одни. Въ каморкѣ было холодно, гадко, печально и пусто. Голыя стѣны, грязный полъ, уголъ ободранной печи, и больше ничего. Стѣны, и въ особенности печка, были покрыты пятнами раздавленных клоповъ. Печку, должно быть, не топили: она была холодная. Отъ пола дуло... На потолокъ и по угламъ висѣла паутина. Воздухъ былъ какой-то промозглый, кислый, точно въ этой каморкѣ стояла протухлая кислая капуста, которую недавно вынесли..

Мы сидѣли на полу другъ противъ друга и молчали. Около насъ стояла лампочка и тускло свѣтила, коптя и моргая. Тутъ же лежалъ завернутый въ желтую бумагу черный хлѣбъ и стояла кружка съ водой.

— Ну, что-жъ намъ теперь дѣлать?—спросилъ я и посмотрѣлъ на старика.

— Давай пожуюемъ,—отвѣтилъ онъ,—а тамъ спать ляжемъ.

— Холодно здѣсь

— А дай-ка выстынетъ,—смерть!

Мы раздѣлили хлѣбъ поровну и стали „жевать“, прихлебывая холодной водой. Хлѣбъ былъ черствый, испеченный изъ низкаго сорта муки. Онъ разсыпался и хрустѣлъ на зубахъ, точно песокъ. Старикъ размачивалъ куски въ водѣ и глоталъ, почти не разжевывая...

— Теперь бы щець,—сказалъ онъ,—горяченькихъ... эхъ!..

— Да,—отвѣтилъ я,—важно бы!

— Да спать бы на печку на теплую, а?..

— Хорошо бы!

— Живутъ же люди,—продолжалъ онъ, съ трудомъ глотая куски,—и все у нихъ есть... И сыты, и одѣты, и почетъ имъ... Мы же, прости Господи, какъ псы, маемся всю жизнь, и нѣтъ намъ ни въ чемъ удачи... А за что, подумаешь?.. Ты кобылу кнутомъ, а кобыла хвостомъ... Эхъ-ма! Спать, что ли?...

— Гдѣ?

— Давай, вотъ, къ печкѣ ляжемъ... Мое пальтишко подстелемъ, твоимъ одѣнемся... Сапоги подъ голову. Аль не снимать сапогъ то?.. У меня ноги зашлись... Печку-то, знать, не топили... Экономія на спичкахъ... О, Господи!.. Клопа здѣсь сила, надо быть, несосвѣтимая... До чего мы сами себя, Семень, допустили, а?.. Подумать страшно... Холодно-то какъ, батюшки!.. Ну, давай ложиться... Чего сидѣть-то... Сиди не сиди, цыплятъ не высидишь...

Онъ снялъ съ себя пальто и разостлалъ его въ углу около печки. Потомъ разулся, сапоги положилъ въ голову и, прикрывъ ихъ портянками, перекрестился нѣсколько разъ и легъ, скорчившись, къ стѣнкѣ.

— Ложись, Семень, и ты рядомъ,—сказаль онъ,—сапоги-то тоже сыми... Ногамъ вольготнѣе... Отдохнуть они... Огонь-то заверни.. На што онъ намъ?.. Ложись скорѣй... Холодно, смерть какъ!

Я сняль пальто, разулся, положилъ сапоги точно такъ же, какъ и онъ, подъ голову и, погасивъ лампочку, легъ рядомъ съ нимъ, накрывъ и его, и себя пальто.

— Двигайся ближе ко мнѣ,—говорилъ онъ,—крѣпче жмись... Теплѣй будетъ... Дай-кась я тебя обойму вотъ эдакъ... Вотъ гоже.. Словно жену... А?.. Семъ, у тебя жена-то есть ли?..

Я промолчалъ и тоже обняль его... Такъ мы и лежали, плотно прижавшись другъ къ другу и дыша—я ему въ лицо, а онъ мнѣ.

Въ клоповникѣ было тихо, точно въ подземельѣ. Слышно было только наше тяжелое дыханіе... Мы оба не спали. Мрачныя мысли, тоскливыя и злыя, кружились въ головѣ, какъ воронье въ ненастное, осеннее утро.

— Семъ!—тихонько произнесъ старикъ послѣ долгаго молчанія.

— А!—такъ же тихо отозвался я.

— Не спишь, голубъ?..

— Нѣтъ.

— Объ чемъ думаешь? Тоскуешь, небось, а?

— А ты?..

— Я что, моя пѣсня спѣта, тебя мнѣ жалко...

Вотъ какъ передъ Истиннымъ говорю, до смерти жалко.. Парень, я вижу, ты хорошій, душевный.. отъ этого отъ самаго и пропадаешь..

Онъ говорилъ это тихо, нѣжно и любовно.. Мнѣ отъ этихъ ласковыхъ словъ сдѣлалось вдругъ невыносимо грустно и такъ жалко самого себя, что я не выдержалъ и заплакалъ... Мнѣ вдругъ вспомнилась моя мать, ея ласки, милое дѣтство и все то дорогое, далекое, невозвратимое, что прошло навсегда, кануло въ вѣчность, забылось, закидалось грязью, залилось водкой, заросло дремучимъ лѣсомъ всякихъ гадостей..

— Что ты, родной?—шепталъ старикъ, крѣпко обнимая меня,—что это ты?.. Брось!.. Ну вотъ, экой ты какой на сердце слабый, брось!.. Голубь ты мой, съ кѣмъ грѣхъ да бѣда не бываютъ... А ты Господу молись... Его, Создателя нашего, проси укрѣпить тебя отъ всякія скорби, гнѣва и нужды... Полно, сынокъ, полно, родной!..

Онъ говорилъ это дрожащимъ голосомъ, сдерживая дыханіе, и что-то неподдѣльно-искреннее, дѣтски-доброе звучало въ его рѣчи.

— Трудно жить на бѣломъ свѣтѣ,—продолжалъ онъ шепотомъ,—ахъ трудно!.. Каждому свой крестъ отъ Господа данъ... Нести его надо... Тяжело его нести, особливо старому человѣку... И грѣхи мучаютъ, и все, что дѣлалъ, вспоминается... Охъ, тяжело это, соколъ ты мой!.. Ты вотъ молодъ, да

и то плачешь, а мнѣ-то каково легко... Кабы ты зналъ, что я видалъ въ своей жизни... Что дѣлалъ?.. Какъ жилъ? Господи, грѣхъ юности и невѣдѣнія моего не помяни!..

Онъ перекрестился въ темнотѣ.

— Иной разъ лежишь вотъ эдакъ ночью одинъ да раздумаешься, страхъ нападетъ, ужасъ! И не вѣрится... А вѣдь все правда, все было.

— Молодъ былъ, — продолжалъ онъ, помолчавъ, — не думалъ, что пройдетъ она, молодость-то... Вали во всю! Пилъ, гулялъ, на гармошкѣ первый игрокъ былъ... плясать — собака!.. Дѣвки эти замной, какъ козы... По двадцать второму году женился... въ домъ вошелъ... Домъ богатый... огородъ... триста грядъ одного луку сажали... Двѣ лошади, корова... Жена ласковая, тихая, красивая... Жить бы... анъ нѣтъ! не любилъ я ее, жену-то... женился больше изъ-за богатства... надулъ ее.. Гулять отъ нея сталъ... Отъ этого пошелъ въ дому раздоръ... да!.. вспомнить гнусно! Отецъ-то ея, женинъ-то, строгій человѣкъ былъ... по старой вѣрѣ... курить и то заказывалъ мнѣ... Ну, а я не уважалъ его... противенъ онъ мнѣ былъ.. вотъ какъ, страсть! Онъ слово, а я ему десять... Онъ бы меня по себѣ-то и прогналъ бы, да дочку жалѣлъ, за нее и терпѣлъ только... Немного онъ съ нами пожилъ... года, знать, съ три, не больше... померъ... Я его, сынокъ, по правдѣ-то сказать, и ухайдакалъ... По-

везли мы съ нимъ разъ капусты возъ за городъ, въ имѣніе одно барское... Дѣло было осенью... погода — смерть... дорога — Сибирь!.. Стали въ одномъ мѣстѣ подъ гору спускаться, а гора крутая. возъ тяжелый, разѣхались колеса по глинтъ, наклонился возъ... вотъ упадетъ... Забѣжалъ мой старикъ сбоку на ту сторону, куда падать-то возу, уперся плечомъ. „Помоги!“—кричитъ. А я взялъ да правой возжей лошадь и тронь... Рванула она, дернула... благая была лошадь, сытая... возъ-то брыкъ!.. Ну и того... придавило его... Побѣжалъ я въ деревню... собралъ народъ... вытащили его изъ-подъ воза мертваго... Ну, что жъ тутъ дѣлать? Задавило и задавило... Дѣло, видно, Божье... Никто не видалъ, какъ дѣло было... Ну, сталъ я жить съ женой вдвоемъ... Родила она дѣвочку... Пожила дѣвочка съ полгода — померла... Ну, что-жъ... живу... Хозяинъ дому сталъ полный... жена смиренная... безотвѣтная... Началъ пить... Пьяный я беспокойный, озорноватый... Приду,—сейчасъ, коли что не по мнѣ, въ зубы... Родила она мнѣ еще ребенка, мальчика... Сталъ расти этотъ мальчикъ... Гринька я его звалъ... такой-то веселый, здоровый, любо!.. Привязался я къ нему, милый, всей душой и пить сталъ меньше... Около дому сталъ хлопотать, гоношить... Думаю: коли помру, все ему пойдетъ... Съ женой сталъ жить по закону... драться бросилъ... Расцвѣла моя баба... души во мнѣ

не чаешь... Люди стали завидовать... Жить бы да жить, анъ нѣтъ!.. Богъ-то взялъ, да по своему и сдѣлалъ... наслалъ на меня напасть... горе такое и сказать страшно... Заболѣлъ Гринька скарлатиной.. Поболѣлъ, поболѣлъ, да и того... скончался... Охъ, Семенъ, Семенъ, коли будутъ у тебя дѣтки, да, спаси Богъ, помретъ который, — вспомнишь меня, старика... Все одно, я тебѣ скажу, взять, вотъ, да ножемъ по сердцу полыхнуть... вотъ какъ легко это!..

...Стали мы его хоронить... Дѣло-то зимой было... морозъ... холодъ несосвѣтимый... Земля-то аршина на полтора промерзла... Самъ я могилу рылъ... билъ, билъ, ломомъ-то!.. рою, а самъ думаю: кому рою?.. да... Ну ладно... Убрала его жена во все чистое въ гробу. Дѣвки, цвѣточницы сосѣдки, цвѣтовъ дали... обложили его цвѣтами-то... Лежитъ онъ въ нихъ, аки ангелъ Господень, и словно бы улыбочка на устахъ... Жалко! подойду, посмотрю — жалко!.. Сердце-то точно кто раскаленными клещами схватить... Ну, пришло время, надо его изъ дому выносить... Что тутъ было, — и сказать тебѣ, родной, не сумѣю. Жена, какъ мертвая... обхватила гробъ-то, застыла... У меня и руки, и ноги трясутся, и плачу я, и топчусь на одномъ мѣстѣ, какъ баранъ... Понесли его въ церковь... Я иду сзади... Жена идетъ... качаетъ ее, какъ былинку... Шаль на одномъ плечѣ виситъ, съѣхала... и тре-

плется эта шаль по вѣтру, какъ птица крыломъ.. Ну, отпѣли въ церкви... Снесли на погостъ, зарыли въ землю... Пришли мы съ женой домой... тоска-то, Господи!.. Полѣзъ я на печку, легъ, лежу и думаю... Вспомнилъ, какъ мы съ нимъ на печкѣ спали вмѣстѣ... какъ, бывало, скажетъ онъ мнѣ: „Тятка, обойми меня ручкой“...

Вспомнилъ, и такая меня тоска взяла—смерть! Слѣзъ съ печи, гляжу: жена держитъ сапожки его, валенки, въ рукахъ и разливается, плачетъ.. Еще пуще взяла меня тоска! Опротивѣло все... весь домъ... Глаза-бы не глядѣли ни на что!.. Взялъ шапку—ушелъ со двора... и началъ я, милый ты мой, съ эстаго разу пить... Забылъ все... и стыдъ, и совѣсть, и Бога... и Богъ меня забылъ... Наплевать, думаю, все одно, коли такъ... Точно, понимаешь, самому Господу на зло дѣлалъ... Озвѣрѣлъ... совѣмъ опустился... жена опостылѣла... бить ее сталъ смертнымъ боемъ, мытарить всячески... въ ея мукахъ отраду себѣ находилъ... Что только я съ ней ни дѣлалъ!.. Молчала она... извелась... высохла, какъ лучина... Разъ я, что съ ней сдѣлалъ, не повѣришь, а правда... распялъ ее!..

— Распялъ?—переспросилъ я.

— Распялъ! — повторилъ онъ, — съ пьяныхъ глазъ сдѣлалъ это... Вывелъ ее на дворъ, привязалъ ноги къ столбу, а потомъ взялъ двѣ веревки, привязалъ одной за руку, перекинулъ конецъ за

переводъ, прикрутилъ, другую руку взялъ, перекинулъ опять конецъ за переводъ и эту прикрутилъ... Повисла она... Голову на грудь свѣсила, глядитъ на меня... Взялъ я кнутъ да и давай ее полыхать...

Онъ замолчалъ... Мнѣ слышно было, какъ онъ весь дрожитъ.

— Страшно! — зашепталъ онъ, — огонь бы вздуть... покурить... а?.. Семенъ... Что ты молчишь?..

— Тебя слушаю.

— Страшно мнѣ, жутко... Жмись ко мнѣ, Христа ради... Не гнушайся ты моимъ тѣломъ, ради Господа... Человѣкъ я тоже... пожалѣй ты меня, старика!..

— Богъ съ тобой!.. развѣ я тобой гнушаюсь... мнѣ самому не легче твоего...

— Горюны мы... лежимъ вотъ, какъ псы... И никому-то мы не нужны... Не жалко насъ никому... Такъ, молъ, имъ и надо... Пьяницы... золотая рота!.. О, Господи!.. да, справедливо наказуешь... А тяжело... ахъ, тяжело на старости лѣтъ терпѣть!..

Онъ опять замолчалъ... Въ трубѣ жалобно завылъ вѣтеръ... Гдѣ-то стукнуло, упало что-то, въ сѣняхъ замяукала кошка.

— Немного проскрипѣла она,—началъ опять шепотомъ старикъ,—извелась, впала въ чахотку, отдала Господу душу о самаго вешняго Миколу...

— Подожди!—перебилъ я его,—за что же, собственно, ты ее билъ?..

— За что? не знаю!.. такъ... Стоить, бывало, мнѣ ее только разъ ударить, то и пойдетъ, и начну, и начну, удержу нѣтъ! Молчить она, а меня пуще злость беретъ... Да что ужъ—вспомнить страшно!..

— Ну, какъ же ты безъ нея жить сталъ?—спросилъ я, видя, что онъ молчить.

— Какъ жилъ? пить сталъ, пить и пить, пить и пить... Все, что было въ дому, пропилъ... Нечего стало пропивать, взялъ да домъ съ землею продалъ... за полцѣны, по пьяному дѣлу, кузнецу отдалъ... Съ годъ, должно, на эти деньги гулялъ, а потомъ вышелъ въ чистую... Сталъ нагъ и босъ... Ну, и сталъ жить: день не жрамши, да два такъ, пока не привыкъ... Попадешь, братъ, въ золотую роту, не скоро изъ нея выскочишь, засосетъ она тебя, какъ болото особливо, коли характера нѣтъ, укрѣпиться не можешь... шабашъ! крышка! пиши пропало! Голодная жизнь, за то вольная, ничего ты не робѣешь,—потому нѣтъ у тебя ничего!.. Какъ птица, куда задумалъ, туда и полетѣлъ... Я, вотъ, всю Россію исходилъ. Спроси, гдѣ не былъ? На Дону жилъ, въ Соловкахъ жилъ, въ Крыму, на новомъ Аѳонѣ два года выжилъ... Гдѣ только не былъ! всего наглядѣлся,—и голодалъ, и сытъ бывалъ по горло, и битъ былъ, и самъ билъ... всего

было, всего! И въ людяхъ живаль, и топоръ на ногу обуваль, и топорищемъ подпоясывался...

— Ну, а теперь ты что-жь думаешь дѣлать?..

— Что дѣлать?.. дѣло мое одно: стрѣлять... издохну, авось, скоро... Охъ-хо, хо!.. курнемъ, а?..

— Не охота вертѣть, холодно...

— Какъ-то намъ по утру идти придется?.. ужъ и не знаю, дойду ли!.. Объ чемъ думаешь, Семъ?.. Ты сказалъ бы хоть что ни на есть?.. Умрешь вѣдь съ тоски такъ-то лежать... Сна нѣтъ... дума... Клопы стали покусывать... Слышишь?..

— Слышу...

— Чиркни-ка спичку... Вотъ небось ихъ высыпало на печку.

Я чиркнулъ спичку. Она вспыхнула и тихо загорѣлась, освѣтивъ слабымъ трепетнымъ свѣтомъ каморку... Испуганные свѣтомъ клопы побѣжали по печкѣ во всѣ стороны... Спичка догорѣла и погасла... Я зажегъ другую и засвѣтилъ лампочку. Множество клоповъ побѣжало по нашей постели, убѣгая отъ свѣта... Старикъ поднялся и сѣлъ, сложивъ ноги калачикомъ. Въ каморкѣ дѣлалось все холоднѣе. Паръ отъ нашего дыханья ходилъ волнами... Лампочка тускло мигала, какъ старая старуха глазомъ. Въ деревянной переборкѣ часто и назойливо, чикали, точно карманные часы, червячки, точа гнилыя, трухлявыя доски...

Мы сидѣли около лампочки, глядя на мигающій свѣтъ, курили и оба молчали, думая свои думы.

XXV.

Такъ сидѣли мы довольно долго. Вдругъ гдѣ-то на крыльцѣ за дверью раздался крикъ, отъ котораго мы со старикомъ вздрогнули, потомъ затопали и застучали въ сѣняхъ, и вслѣдъ за тѣмъ кто-то подошелъ къ нашей двери, отперъ замокъ и, распахнувъ ее настежь, крикнулъ:

— Волоки его, чорта, сюда!

Кричалъ это, какъ оказалось, сторожъ. Въ сѣняхъ опять застучали, завозились, и слышно было, какъ волокутъ кого-то по полу.

— Да ну!—крикнулъ сторожъ, — ай не совладеете!..

— Здоровъ, дьяволъ! — раздался изъ темноты хриплый голосъ, и вслѣдъ за нимъ мы увидали, какъ двое сотскихъ, съ бляхами на груди, съ возбужденными, красными лицами, выволокли на полосу свѣта, къ нашей двери, какого-то упиравшагося пятками въ полъ и злобно хрипѣвшаго челоуѣка.

Сотскіе, пыхтя и сквернословя, втащили его къ намъ въ каморку и бросили на полъ. Человѣкъ вскочилъ и ринулся къ двери. Сотскіе отгол-

кнули его и выскочили вмѣстѣ со сторожемъ за дверь.

— Сиди вотъ здѣсь, дьяволъ тебя задави!— сказалъ одинъ изъ нихъ, — дурь-то выскочить... троимъ-то вамъ весело...

— Проклятые! — закричалъ человѣкъ и застучалъ объ дверь кулаками, — пустите!.. Разнесу!..

— Разнесешь!

— Разнесу!

Человѣкъ этотъ былъ пьянъ. На его худое, бѣлое, какъ бумага, лицо и на огромные, налитые кровью, дико бѣгающіе глаза страшно и противно было глядѣть. Одѣтъ онъ былъ въ одежду монастырскаго послушника. Длинные, совсѣмъ рыжіе волосы мокрыми прядками трепались по плечамъ. Голосъ его, отвратительно хриплый, какой-то скрипучій, билъ по нервамъ и раздражалъ, какъ скрипъ намазаной оси.

— Пустите! — вылъ онъ дикимъ голосомъ и колотилъ кулаками въ дверь. — Дьяволы! Антихристы!.. дверь вышибу!

Мы со старикомъ молча глядѣли на него. Онъ не унимался. Наконецъ, старикъ не выдержалъ и крикнулъ:

— Не ори... Эй ты, рабъ Божій!... ложись спать...

„Рабъ Божій“ обернулся и посмотрѣлъ на насъ. Налитые кровью глаза его какъ-то завертѣлись необыкновенно дико и страшно, и онъ вдругъ со-

вершено неожиданно, ничего не говоря, какъ кошка, отпрыгнувъ отъ двери, бросился къ старику, повалилъ его навзничъ и, вцѣпившись ему въ горло руками, началъ душить, воя и визжа, какъ волкъ.

Старикъ вытаращилъ глаза, захрипѣлъ и замахалъ мнѣ рукой.

Я сперва испугался,—до того это было дико и неожиданно. Потомъ, видя, что онъ задушить старика до смерти, схватилъ „раба Божьяго“ за его длинныя, рыжія космы обѣими руками и поволокъ по полу. Онъ, очевидно, отъ страшной боли, сейчасъ же выпустилъ старика и, отбѣжавъ въ уголъ, всталъ тамъ спиной къ стѣнѣ, дико глядя на насъ безумными глазами.

— Господи Іисусе!—простоналъ перепуганный старикъ,—вотъ было гдѣ смерть свою нашель... Ну, Семень, гляди теперь за нимъ въ оба... Коли что, бей его сапогомъ въ рыло... Парень, я вижу, ты ловкій... Вотъ чорта-то, прости Господи, притащили. Что-жъ теперь намъ дѣлать?..

— Не знаю... увидимъ.

— Полоумный, знать?

— Чортъ его знаетъ... Спать, видно, намъ не придется.

— Гдѣ спать... гляди, гляди!

Полоумный „рабъ Божій“, глядя на насъ, поднялъ вдругъ руки надъ головой и, махая ими,

пустился по каморкѣ плясать въ присядку, крича во всю глотку какую-то кабацкую пѣсню. Онъ долго вертѣлся по полу, похожій на чорта, встряхивая волосами и размахивая лапами подрясника. Потомъ, очевидно, измучившись, пересталъ плясать и, подскочивъ къ двери, завопилъ: — Отоприте! отоприте! отоприте!..

— Господи помилуй!—шепталъ перепуганный старикъ,—Царица Небесная... Семень, на сапогъ, держи, будь наготовѣ.. Коли что, бей его въ торецъ. Вотъ вляпались-то мы съ тобой... Гляди, какъ бы лампочку, спаси Богъ, не разбилъ...

— Отоприте!—вылъ, между тѣмъ, пьяный монахъ такъ громко и дико, что, я думаю, на улицѣ былъ слышенъ этотъ крикъ.

— Не ори!—раздался за дверью голосъ сторожа.

— Отоприте!—еще шибче закричалъ пьяный.

— Ну, погоди-жъ ты, чортъ! — крикнулъ сторожъ,—мы тя уйдемъ... Погоди!..

Онъ ушелъ и скоро возвратился назадъ съ двумя сотскими. Всѣ они трое ворвались въ каморку, набросились на монаха, сшибли его съ ногъ и начали колотить и таскать по полу, какъ какой-нибудь мѣшокъ съ трухой... Монахъ дико визжалъ и рвался..

— По рылу не бей! по рылу не бей!—кричалъ сторожъ,—охаживай его по бокамъ, вотъ такъ! вотъ такъ! ловко! что, чортъ, будешь орать, а?... будешь, а?..

Его били и волочили за волосы до тѣхъ поръ пока онъ не пересталъ кричать. Потомъ связали ему веревкой руки и, бросивъ въ уголъ на полъ, ушли, какъ ни въ чемъ не бывало... Очевидно, дѣло это для нихъ было привычное, неинтересное, обыденное...

— Успокоили! — подмигивая и весело ухмыляясь, сказалъ старикъ, когда они ушли, — ловко отдѣлали: за дѣло... не ори. Задушилъ было, проклятый! Гляди, не издохъ бы ночью, наживешь съ нимъ бѣды... на насъ еще свалить... Погляди, дышетъ ли?

Я подошелъ и взглянулъ на лежавшаго навзничъ монаха. Лицо его было бѣло и страшно. Изъ угла рта сочилась кровь. Глаза были закрыты. Онъ тихо и рѣдко дышалъ.

— Ну, что? — спросилъ старикъ.

— Дышетъ! — отвѣтилъ я.

— Ну, а дышетъ, значитъ, ничего... отойдетъ...

Избитый монахъ вдругъ завозился, застоналъ и, повернувшись на бокъ, лицомъ къ стѣнѣ, захрапѣлъ.

— Не отходить-ли? — испуганно воскликнулъ старикъ. — Сѣмъ, батюшка, посмотри!

— Нѣтъ, — сказалъ я, послушавъ, — спать.

— Ну песъ съ нимъ!.. пушай спать... Пропится, будетъ по утру бока почесывать...

Мы поговорили еще кое о чемъ и, погасивъ

огонь, легли опять спать точно такъ-же, какъ раньше, крѣпко прижавшись другъ къ другу...

XXVI.

Долго-ли я спалъ,—не знаю. Проснулся я отъ того, что меня кто-то тихо трогалъ по лицу чѣмъ-то холоднымъ и мокрымъ. Испугавшись, я вскочилъ и закричалъ:—Кто тутъ?!

Отъ моего крика проснулся старикъ, и слышно было, какъ онъ сперва ошарилъ то мѣсто, гдѣ лежалъ я, и, не найдя меня, испуганнымъ шепотомъ спросилъ:

— Семень! гдѣ ты?..

— Здѣсь!—отвѣтилъ я тоже шепотомъ и добавилъ,—меня кто то разбудилъ... за лицо трогалъ.

— Зажигай скорѣй огонь!—заволновался старикъ и заерзалъ по полу. — Убѣеть, проклятый! И какъ это мы, дураки, оплошали,—огонь погасили.

Я торопливо чиркнулъ спичку, зажегъ лампу, и вотъ что увидали мы при ея слабомъ свѣтѣ.

На полу, около нашей постели, головой къ стѣнѣ, ногами къ намъ, лежалъ навзничъ монахъ. Ноги его, обутыя въ опорки, поверхъ грязныхъ портянокъ, находились какъ разъ на томъ мѣстѣ, гдѣ была моя голова. Очевидно, онъ толкалъ меня въ потемкахъ по лицу этими опорками...

Онъ лежалъ, глядѣлъ на насъ мутными страшными глазами и улыбался, скаля зубы, какой-то страшной и противной улыбкой...

— Что? Что ты?—спросилъ я, отшатнувшись отъ него.

Онъ ничего не отвѣтилъ и молча, не переставая улыбаться, водилъ глазами то на меня, то на старика.

Мнѣ стало страшно. Вся эта долгая ночь стала казаться какимъ-то кошмаромъ...

— Не во снѣ-ли я все это вижу? — думалось мнѣ,—не заболѣлъ ли я горячкой.. не бредъ ли это?..

— Рабъ Божій!—заговорилъ старикъ,— что ты, а? проснулся, родной, а?.. А ты усни еще... вставать-то рано.

— Гдѣ я?—прохрипѣлъ монахъ.

— Въ хорошемъ мѣстѣ, землячокъ,—съ усмѣшкой отвѣтилъ старикъ,—на даровой квартирѣ... въ гостиницѣ господина Клопова.

— Какъ я попалъ сюда?—опять прохрипѣлъ монахъ.

— Доставили тебя, рабъ Божій, сюда добрые люди, подъ ручки привели... съ почетомъ...

Монахъ завозился по полу, стараясь встать.

— Развяжите мнѣ руки!—простоналъ онъ.

— Этого мы не можемъ,—сказалъ старикъ:—не мы тебя связывали.

— Христа ради!..

— Развяжи тебя, а ты опять скандалъ поднимешь, дверь ломать начнешь... Меня давеча совсѣмъ было задушилъ... Вотъ кабы добрый человѣкъ не помогъ,—былъ бы я теперь въ раю.

— Христа ради!—опять простоналъ монахъ.

— Чудакъ, да ты пойми: какъ намъ тебя развязать... намъ вѣдь за это влетить... Нельзя, рабъ Божій, ей-Богу нельзя.

Монахъ обвелъ насъ глазами и, плюнувъ, крикнулъ:

— Тѣфу ты, дьявольское навожденіе! Угораздило меня... Били меня, что ли, а?..—спросилъ онъ, глядя на старика.

— Да, было дѣло... повозили порядкомъ... Чай, слышно въ бокахъ-то...

— Покурить бы!

— А табакъ-то есть?

— Въ карманѣ кисеть... развяжи руки.—И, видя, что старикъ молчитъ, онъ обратился ко мнѣ и сказалъ:—Паренекъ, развяжи... Христа ради прошу.

Мнѣ стало жаль его. Хмѣль съ него соскочилъ. Онъ сталъ понимать свое положеніе.

— Что-жъ, Семенъ, аль развязать?—сказалъ старикъ,—кажись, очухался... Шумѣть, рабъ Божій, не будешь,—развяжемъ.

— Не буду.

— Побожись!

— Да не буду! ей-Богу, не буду... На меня вѣдь находить на пьянаго-то... ничего не помню.

— Ну, ладно, коли такъ, что самдѣли тебя томить... Развяжи-ка его, Семень!

Я нагнулся и развязалъ веревки. Монахъ сѣлъ и, помахавъ руками по воздуху, сказалъ:

— Отекли!—Потомъ, помолчавъ еще, прибавилъ:—ничего не помню, хоть зарѣжь.

Онъ досталъ кисетъ и, закуривъ отъ лампочки, задумался, глядя на огонь. Мы тоже молчали, п - глядявая на него.

— А, что, братцы, меня сюда безъ котомки привели?—спросилъ онъ вдругъ, точно проснувшись, и передалъ старику окурочъ.

— Ничего у тебя не было,—сказалъ старикъ,— вотъ, такъ какъ есть... Да тебя откеда взяли-то?

— Да опять же изъ трактира!

— За что?..

— Наскандалилъ я, небось... Ужъ такая замычка у меня подлая.

— А не помнишь?..

— Хоть убей, ничего! Котомку-то, знать, по сѣялъ... жалко! Фу ты, провалиться бы тебѣ!

— А было что въ котомкѣ?

— Бѣльишко... еще кое - что... рублей на пять.

— А видѣ-то цѣль ли?

— Видъ при мнѣ... за пазухой, вотъ здѣсь... кому онъ нуженъ?

Мы помолчали... Въ каморкѣ стояла таинственная, полная какихъ-то призраковъ, гнетущая тишина.

— Утро, знать, скоро,—сказалъ старикъ и, обратившись къ задумавшемуся монаху, спросилъ:—А ты куда идешь-то, отецъ?..

— На Калугу иду... къ Тихону... Знаешь?

— Ну, вотъ, какъ не знать... ночевалъ тамъ на странней... Ужъ и странная тамъ: хуже тюрьмы... А жилъ-то гдѣ?—опять спросилъ онъ.

— Тутъ, въ одномъ монастырѣ, не далеча... А что тебѣ?

— Да такъ... загулялъ, знать?

— Нѣтъ... такъ...

— Руки длинны, а?—спросилъ старикъ и подмигнулъ глазомъ.

Монахъ ничего не отвѣтилъ и задумался.

— Голова, небось, трещить?—опять спросилъ старикъ.

— Все трещить!—мрачно отвѣтилъ монахъ и, поднявшись съ полу, потянулся, зѣвая во весь ротъ.—А вы какъ сюда попали?

— Мы изъ Питера этапомъ,—отвѣтилъ старикъ и, помолчавъ, спросилъ:—Давно по монастырямъ-то?

— Давно.

— Какъ житьишко-то?... Живаль я, только не по здѣшнимъ мѣстамъ... Харчи-то какъ?

— Ничего харчи...

— А ты самъ-то чей?..

— Дальній я... съ Камы... Слыхаль?.. рѣка такая... въ Волгу пала...

— Знаю... Что-жъ, опять въ монастырь?

— А то куда-жъ больше?

— Пьете вы здорово!

— Какъ придется тоже...

— Да, правда,—гдѣ въ монастырѣ денегъ ваять?

— Захочешь, такъ найдешь гдѣ, коли ловокъ.

— Извѣстно, ловкому вездѣ ловко... А ты, что-жъ, самъ ушелъ, аль прогнали?

— Прогнали!

— За что?..

— За что, за что... за воровство!

— Свиснулъ?

— А тебѣ что?

— Да такъ... любопытно... скука такъ-то сидѣть, молчать...

— Я часовню обкрадываль! — сказалъ монахъ, помолчавъ.

— Н-у-у?—удивился старикъ. — Какъ же ты исхитрялся-то?... раскажи, братъ.

— Такъ и исхитрялся... Вишь ты, братецъ мой, дѣло-то это просто дѣлалось... Наладилъ было я ловко, да сорвалось... Самъ виноватъ: сказалъ то-

варищу, а онъ, сукинъ сынъ, меня въ яму и вса-
дилъ, подвелъ... забѣжалъ къ игумену съ языч-
комъ... Сволочь!.. попадется когда-нибудь—голову
оторву!..

— Ишь ты!—покачавъ головой, сочувственно
произнесъ старикъ,—вотъ-такъ товарищъ, ну, ну!?

— Ну и того... поперли меня. Жалко!.. Житьиш-
ко у меня наладилось было форменное. День-
жонки каждый день.. выпьешь, бывало, и заку-
сишь... бабенку приучилъ... Жалко!..

— Бабенку?!

— Сколько хошь добра этого... сами лѣзутъ.

— Ахъ, сволочь!.. Въ святое мѣсто и то отъ
нихъ не уйдешь!.. Ну, ну! какъ же ты крадь-то,
скажи...

— А вотъ какъ. Есть, братецъ мой, около мо-
настыря этого, гдѣ жилъ я, часовня на большой
дорогѣ, съ версту эдакъ отъ обители, въ честь
пророка Предтечи и Крестителя Господня Іоанна.
Всѣ, понимаешь, кто ни идетъ и ни ѣдетъ, без-
премѣнно въ нее заходятъ. Ну и того... жертвуютъ,
кто сколько можетъ... Икона въ часовнѣ-то... боль-
шая икона Предтечи и Крестителя Господня Іоан-
на... Передъ иконой аналойчикъ, а на аналой-
чикѣ оловянное блюдо для денегъ поставлено, на
это блюдо и кладутъ. Ладно. Къ часовнѣ этой
старецъ приставленъ—отецъ Августалій, за по-
рядкомъ глядѣтъ и деньги получаютъ. Старый этотъ

самый Августалій, престарый, лѣтъ 80 ему... глухой, дурковатый, видитъ плохо, сидитъ, клюетъ носомъ, молитвы шепчетъ. Отлично. Вотъ я и того... смекнулъ. Вижу, дѣло-то подходящее. Сталъ слѣдить за этимъ старцемъ: когда онъ приходитъ въ часовню, когда уходитъ обѣдать. Замѣтилъ, что онъ поутру не рано ходитъ туда изъ обители, часовъ эдакъ въ семь. Я, понимаешь, возьми, да туда маршъ пораньше. Часовня-то постоянно отпертая стояла, потому тамъ, окромя образа, ничего не было. Ну, ладно. Богомольцы поутру, лѣтнее время, чуть свѣтъ, идутъ по холодку. Ну, я и того... что наложено на блюдѣ, то—въ карманъ себѣ... Ловко?..

— Ловко! — воскликнулъ старикъ. — Ну, ну!..

— Наладилось у меня дѣло... малина!.. Передъ большими праздниками хорошо добывалъ... Рубля по полтора, а то и больше.

— Ну-у-у!?

— Сейчасъ провалиться, не вру... Водочка это у меня каждый день... закусочка... колбаска... рыбка... манность! Все бы ладно, да дернула меня нелегкая, по пьяному дѣлу, рассказать про это пріятелю... Поилъ его, дьявола... угощалъ... а онъ къ игумену, — и рассказалъ все... Ну, меня и намахали... Пошелъ я съ горя да и загулялъ... Какъ сюда попалъ, — не помню.

— А не мало ты, похоже, денегъ побралъ эдакъ-то?...

— Не мало.

— Да,—задумчиво сказалъ старикъ,—денежки эти тебѣ отольются... У кого кралъ-то? у пророка, Предтечи Крестителя Господня Іоанна!.. Можетъ, какая баба, копѣйку ту какую клала а?.. Слезовую! кровяную! мозольную!.. Думала—Богу, анъ ты ее на глотку... Сукинъ сынъ, братъ, ты отецъ, не въ обиду будь тебѣ сказано. Тебѣ за это дѣло, знаешь, что надо?..

— Чего ты меня учишь?.. Наплевать!..

— Наплевать-то наплевать, а счастья тебѣ не будетъ.

— А мнѣ и не надо!

— Что такъ?..

— Да такъ... все одно... Эхъ, да и надоѣло мнѣ все!—воскликнулъ онъ съ тоской.—Кажись, кабы кто застрѣлилъ меня изъ поганого ружья,—спасибо сказалъ бы.

— Чего-жъ тебѣ не достаетъ?.. человекъ ты молодой.

— Надоѣло все!.. глаза-бъ не глядѣли! Только и живешь, пока пьянъ... Налакаешься—одурѣешь... все позабылъ: и богатъ, и веселъ!..

— Ну это, братъ, не одному тебѣ, а и всѣмъ такъ-то... Жизнь-то мачиха... жизнь, братъ, задача... Намъ съ тобой и не понять... Не даромъ

пословица-то молвится: не такъ живи, какъ хочется, а какъ Богъ велѣлъ.

— Богъ, Богъ!—опять какъ-то отчаянно и злобно воскликнулъ монахъ,—все Богъ! Голова болить—Богъ наказалъ! Не спится—Богъ наказалъ! На этапъ попалъ—Богъ наказалъ! Все Богъ... а можетъ, Бога-то и нѣтъ... пугаютъ только насъ, дураковъ.

— Ну, это ты ужъ заливаешь съ пьяныхъ-то глазъ.

— Ничего не заливаю! Сказано: гора двинется съ мѣста, коли попросишь... Ну-ка, коли вѣришь, попроси, чтобы тебя Богъ отсюда вывелъ въ трактиръ... да выпить бы далъ, да закусить... Ты, чай, не жралъ путемъ съ роду... Ну-ка!.. а?.. что!

— Дуракъ!—сказалъ старикъ,—теперь всѣ трактиры заперты.—И, помолчавъ еще, сказалъ:—А святыя-то отцы?.. а мощи-то?

— Мощи... дѣлають, братъ, въ лучшемъ видѣ!..

— Отстань! Ну тебя ко псамъ! И вѣрно: тебя изъ погананаго ружья убить стоитъ... Семень!—обратился онъ ко мнѣ,—вотъ, гусь-то, а?..

Я ничего не сказалъ. Монахъ покурилъ и легъ, отвернувшись отъ насъ лицомъ къ стѣнѣ.

— Вѣрь всему,—сказалъ онъ,—дураковъ-то и въ алтарѣ бьютъ... Деньги—Богъ! Уснуть бы,—добавилъ онъ,—да не уснешь... о, Господи!.

— Да,—сказалъ, помолчавъ, старикъ и пока-

чалъ сѣдой головой,—много на свѣтѣ всякаго народу... всякаго... и всякой дуракъ по своему еъ ума сходить... Гляди, Сѣмъ, учись... вѣкъ живи, вѣкъ учись, а дуракомъ помрешь... Такъ ли, а?... Что присмирѣлъ?.. Давай опять спать... Можетъ, уснемъ, а?..

— Теперь скоро за вами, дьяволы, придутъ!—заворчалъ монахъ.

— Да ужъ одинъ бы конецъ!—отвѣтилъ старикъ и растянулся на полу,—всю душу вымотали! Давай спать, Семенъ, больше ничего. Увидимъ тамъ. Утро вечера мудренѣе. Нечего думать-то... Ложись-ка!..

XXVII.

Рано утромъ солдаты разбудили насъ и повели въ дальнѣйшій путь.

Погода утихла. Было тихо и морозно. Заря только что начинала заниматься. Серпъ мѣсяца стоялъ надъ горизонтомъ, медленно погасая подъ лучами разгоравшейся зари. Ночь, какъ бы нехотя и лѣнливо, уступала мѣсто короткому зимнему дню.

Дороги не было. Ее совсѣмъ задуло вчерашней мятелью. Мѣстами снѣгъ отвердѣлъ такъ, что не проваливался подъ ногами. Идти было трудно и не спорно. Еловые вѣшки, скупо натыканныя далеко одна отъ другой, показывали намъ дорогу. Мы шли молча, вязли и злились. Морозъ крѣп-

чалъ и хваталъ за лицо. Яркое солнце, огромнымъ огненнымъ шаромъ, тихо выплыло изъ-за лѣса. Снѣгъ заискрился и заблестѣлъ такъ, что на него больно стало глядѣть. Направо, въ деревнѣ, затопились печки, и дымъ изъ трубъ тихо, столбами поднимался къ небу. Гдѣ-то вдали звонили въ колоколъ, и откуда-то доносился крикъ: „Но! но!.. да, но, дьяволъ тебя задави!..“ Вездѣ кругомъ, куда ни посмотришь, было свѣтло и необыкновенно красиво. Природа точно переодѣлась за ночь во все чистое и, свѣтлая и радостная, показала въ такомъ нарядѣ взошедшему яркому солнцу.

Мы прошли полемъ, спустились подъ гору, въ лощину, перешли по мосту чрезъ занесенную снѣгомъ рѣчку и, взобравшись на гору, усталые, остановились покурить.

Съ горы, передъ нашими глазами, разстился чудесный видъ. Куда могъ только проникнуть глазъ, уходила какая-то синяя, безконечная, какая-то наводящая на сердце и бодрость, и грусть, маяющая къ себѣ даль. Надъ этой далью опрокинулось, какъ огромная чашка, голубое, ясное, необыкновенно прозрачное небо... Отдаленныя села, съ горящими на солнцѣ крестами церквей, черныя пятна деревень, полоса черного лѣса на горизонтѣ, высоко и быстро съ говоромъ летящія галки, сверкающій ослѣпительно снѣгъ,—все это

радовало и ободряло. Что-то здоровое, свѣжее, радостное вливалось въ душу.

— Ну, и простору здѣсь, братцы мои!—воскликнулъ старикъ, заслонясь рукой отъ солнца.—Эва, какъ плѣшъ!..

— Говори, слава Богу, погода утихла,—сказалъ солдатъ.—Кабы здѣсь да по вчерашнему—взвылъ бы! Вонъ какіе сугробы насадило! Есть гдѣ погулять вѣтру. Ну, трогай, ребята, верстъ двадцать съ гакомъ идти еще.

Мы пошли дальше. Вскорѣ насъ догнали ѣхавшіе порожнемъ мужики и любезно предложили подвезти. Старый мужикъ, широкоплечій и кряжистый, съ большущей бородой лопатой, къ которому вмѣстѣ съ солдатомъ я сѣлъ въ дровни, вытаращилъ на меня глаза съ такимъ удивленіемъ и любопытствомъ, что мнѣ стало неловко, досадно и смѣшно.

— Куда-жъ ты его, служба, ведешь-то,—спросилъ онъ солдата, не спуская съ меня глазъ,—въ замокъ, что ли?

— Сдамъ тамъ!—неопредѣленно махнулъ солдатъ рукой,—наше дѣло доставить...

— Тотъ-то никакъ старый?—сказалъ опять мужикъ, кивнувъ на другія дровни, гдѣ сидѣлъ старикъ съ солдатомъ.—А этотъ, вишь ты, совсѣмъ молодой,—обратился онъ снова ко мнѣ,—чай, поди, родители живы? Вотъ грѣхи-то тяжки. Эдакой мо-

лодой, а до чего достукался.. За воровство, чай, молодчикъ, ась?.. Что рыло-то воротишь, а? стыдно!.. И какъ живъ только?—началь онъ опять, видя, что я молчу,—дивное дѣло! Эдакой холодъ, почитай, раздѣмшись!.. Чай, тебѣ холодно, ась? Что молчишь, холодно баю, чай?

— Тепло!—сказаль я.

— Быть тепло, — онъ покачалъ головой, — ахъ ты, парень, парень!.. Родители-то есть ли? Женать, небось, тоже, ась?..

— Его жена по лѣсу, задеря хвостъ, бѣгаетъ!—отвѣтилъ за меня солдатъ.

— Н-н-да!—заговорилъ опять мужикъ,—и много васъ такихъ-то вотъ, сукиныхъ сыновъ, развелось.. дармоѣдовъ... То и дѣло на чередъ водять, отбою нѣтъ, одолѣли. Откуда тебя гонять-то?..

— Изъ Питера!—отвѣтилъ опять за меня солдатъ.

— Изъ Пи-и-и-тера,—глубокомысленно протянулъ мужикъ,—да, не близко.—Онъ помолчалъ и, снова обратившись ко мнѣ, спросилъ:—Неужли же тебѣ не стыдно?... И давно ты эдакъ-то? А все, чай, водочка?.. Ты откуда? Чей?..

— Да отвяжись ты отъ меня!—сказаль я, разсердившись.—Какое тебѣ дѣло?..

— А ты не серчай.. такъ я. На, покрой ноги-то дерюгой, ознобишь, мотри... Ахъ робята, робята, какъ это вы сами себя не бережете!.. Роди-

телямъ-то какво на тебя глядѣть, на эдакого, какъ заявиться домой-то... Страшно подумать. И не стыдно! Правда, стыдъ не дымъ, глаза не выѣсть, такъ знать?..

— Захотѣлъ отъ нихъ стыда, — сказалъ солдатъ, — у этого, отецъ, народа стыдъ подъ пяткой...

— Необузданный народъ, — сказалъ мужикъ, — отчаянный... вольный народъ... избалованный... пороть бы... шкуру спускать...

— Хоть убей, все одно, — сказалъ солдатъ.

Я сидѣлъ, слушалъ ихъ и думалъ:

„Ни на что такъ не способенъ и не скоръ челоуѣкъ, какъ на осужденіе своего ближняго“.

— Осатанѣли! — продолжалъ разсуждать мужикъ, — вольный народъ... не рабочій... не ломаный... Работать-то лѣнь, ну, и допускаютъ сами себя до низости... Необразованный народъ... Ты, землякъ, по какому же дѣлу-то? — опять обратился онъ ко мнѣ, — мастеровой, что-ль, аль такъ трепло?..

— Онъ золотыхъ дѣлъ мастеръ, — сказалъ солдатъ и засмѣялся. — Чудакъ ты, дѣдъ! — воскликнулъ онъ. — Какой же онъ мастеровой... Чай, видишь, небось — жуликъ.

— Мастерство выгодное, — сказалъ мужикъ и, отвернувшись, хлестнулъ лошадь и крикнулъ: — Ну, голубенокъ, качайся... небось!..

Косматая, пузатая лошадевка махнула хвостомъ и побѣжала пшибче, кидая копытами сухой снѣгъ.

— Вонъ въ томъ лѣсу,—указалъ мужикъ кнутовищемъ,—мы васъ ссадимъ... Мы отсель дрова возимъ на фабрику... Чай, жрать хочешь?—обратился онъ опять ко мнѣ и, ударивъ еще разъ по лошаденкѣ кнутомъ, продолжалъ, — погодика-съ. бабы, чай, мнѣ наклали лепешекъ... Гдѣ мѣшокъ-то?... А, чтобъ те пусто было! Вотъ онъ гдѣ—подо мной...

Онъ развязалъ мѣшочекъ и досталъ изъ него двѣ лепешки, испеченныя съ мятой картошкой.

— Нака-съ, прими Христа ради,—сказалъ онъ,—поправься!.. Чай, кишка кишкѣ шишъ кажетъ...

Я взялъ и, отломивъ, сталъ ѣсть... Солдаты сидѣли и косились на меня, глотая слюни... Я видѣлъ, что ему хочется лепешки, а спросить совѣстно.

— Не хошь ли?—сказалъ я, подавая ему кусокъ.

— Ъшь самъ-то,—сказалъ онъ и отвернулся,—что тебя обижать-то!..

— Да на!—опять сказалъ я,—съ меня хватить.

— Нешто кусочекъ.—Онъ взялъ кусокъ.—Спасибо! Признаться,—обратился онъ къ мужику, точно извиняясь,—поѣсть хотца... Чаемъ однимъ живемъ... а что чай—вода.

— Понятное дѣло,—согласился мужикъ и, подумавъ, сказалъ,—я вамъ, пожалуй, еще дамъ одну... Ъшьте на здоровье... съ меня хватить... Ыдунъ-то я не ахти какой...

Онъ досталъ еще одну и далъ намъ

— Ну, вотъ и пріѣхали,—сказалъ онъ, вѣзжая въ лѣсъ.—Слѣзайте вамъ.

Мы слѣзли. Мужики поѣхали шагомъ и, свернувъ съ большака въ сторону, скрылись въ лѣсу...

Мы пошли дальше.

XXVIII.

Лѣсомъ было идти хорошо, и мы прошли его скоро. За лѣсомъ дорога пошла между кудрявыхъ, старыхъ, развѣсистыхъ березъ, насаженныхъ по обѣимъ сторонамъ. Мы шли, точно по аллеѣ какого-нибудь стариннаго барскаго сада. Дорогу успѣли наѣздить и идти было легко, тѣмъ болѣе, что насъ подгонялъ морозъ, больно пощипывая за лицо и скрипя подъ ногами.

Пройдя верстъ восемь,—до деревни, гдѣ былъ трактиръ, мы попросили солдатъ купить хлѣба на оставшійся гривенникъ и, отдохнувъ за деревней, около овина, на ометѣ соломы, тронулись дальше.

Солнце стало спускаться, холодъ усилился. Мы торопились, рассчитывая придти въ городъ за свѣтло. Мысль, что скоро будетъ конецъ нашимъ мытарствамъ, подгоняла насъ.

— Скоро придемъ, ребята,—сказалъ солдатъ,— недалеча... верстъ пять... Вотъ взойдемъ на лобокъ, и городъ видно.

— Слава Тебѣ, Господи! отвѣтилъ старикъ.— Семень!—обратился онъ ко мнѣ,—знакомыя мѣста.. чай, бывалъ здѣсь?.. Что не веселѣ, головушку повѣсилъ, а?..

Я молчалъ и думалъ, какъ, на самомъ дѣлѣ, я заявлюсь къ своимъ... Я зналъ, что невеселая готовилась мнѣ встрѣча... На душѣ было такъ тоскливо, что хотѣ бы вернуться и идти назадъ, опять снова голодать, холодать, валяться гдѣ-нибудь подъ нарами и знать, что ни кругомъ, ни около нѣтъ никого, кто бы сталъ „пилить“ и читать житейскую, азбучную мораль на тему не „упивайтесь виномъ“ и т. п.

— Ну, вотъ и городъ, — сказалъ солдатъ,—эвонъ!..

Въ лощинѣ, версты за двѣ отъ насъ, раскинулся городишко. Лучи заходящаго солнца играли на церковныхъ крестахъ. Въ соборѣ звонили къ вечернѣ. Звуки большого колокола, тяжелые и рѣдкіе, медленно плыли и таяли въ холодномъ воздухѣ.

Старикъ снялъ картузъ и перекрестился.

— Слава Тебѣ, Создателю,—сказалъ онъ,—пришли! живы остались... Ну, а теперь что будетъ, увидимъ...

Мы ошли въ городъ.

Длинная, пустынная улица, съ почернѣвшими, занесенными снѣгомъ домишками, тянулась передъ

нами. Мы торопливо шли по срединѣ ея. Рѣдкіе пѣшеходы останавливались и глядѣли на насъ. долго провожая глазами. Изъ подъ воротъ то и дѣло выскакивали собаки и съ лаемъ кидались на насъ. Какой-то, возвращавшійся изъ города домой, пьяный мужикъ, весь черный, какъ негръ, очевидно, угольщикъ, поровнявшись съ нами, обругалъ насъ на всю улицу матерно и долго смѣялся, остановивъ лошадь, намъ вслѣдъ, находя въ этомъ, должно быть, какое-то особенное удовольствіе.

Чѣмъ дальше шли мы, тѣмъ все больше и больше попадалось людей... Иные изъ нихъ качали головами и показывали на насъ пальцами... Бабы останавливались и глядѣли, разиня ротъ, съ такимъ напряженно-дурацкимъ выраженіемъ удивленія, на лицѣ, что, казалось, глядятъ онѣ не на людей, а на какихъ-то чудовищъ со звѣринными головами.

Какой-то лавочникъ, здоровый и красный, одѣтый въ короткій пиджакъ, перевязанный по брюху краснымъ кушакомъ, увидя насъ, подперъ руки въ боки и закричалъ:

— Господамъ-съ... съ прибытіемъ-съ... честь имѣю кланяться... все ли здоровы-съ!.. Го, го, го!— заржалъ онъ на всю улицу.

Съ котомкой за плечами, горбатый и худой мужикъ, поровнявшись съ нами, подалъ ста-

рику монету и, снявъ шапку, перекрестился на церковь...

Все это — удивленіе прохожихъ, и пьяный угольщикъ, и толстый лавочникъ, и подавшій копѣйку мужикъ—дѣйствовало на меня удручающе. Я шелъ, мысленно моля Бога, чтобы вся эта срамота и униженіе кончились поскорѣе.

Наконецъ, все это кончилось. Солдаты подвели насъ къ желтому, облупившемуся, мрачному зданію и, обколотивъ обѣ ступеньки съ валенокъ снѣгъ, ввели насъ въ холодныя, полутемныя сѣни. Въ сѣняхъ, прямо передъ нами, была дверь, а надъ дверью надпись, по зеленому полю бѣлыми буквами: „Тюрьма“.

— Неужели опять въ тюрьму?—съ ужасомъ подумалъ я, прочитавъ эту надпись.

Но благодареніе Богу! въ тюрьму насъ на этотъ разъ не повели. Оправившіеся солдаты пошли вверхъ по лѣстницѣ, какъ оказалось, въ канцелярію. Въ канцеляріи былъ только сторожъ да какой-то носатый не то писарь, не то еще кто—Богъ его знаетъ.... Солдаты передали ему бумаги и ушли, оставя насъ сторожу.

Носатый человѣкъ, одѣтый въ коротенькій коричневый пиджакъ и въ сѣрыя клѣтчатые брюки, записалъ что-то, закурилъ папиросу и сказалъ сторожу: — Веди ихъ въ мѣщанскую управу.

— Что-жъ вести, — отвѣтилъ сторожъ, — тамъ теперь нѣтъ никого.

— Ну, а куда-жъ ихъ?.. Веди... тамъ на сѣвѣжью посадятъ, завтра разберутъ. На вотъ бумаги, отдашь тамъ... Небось, въ полицейскомъ управленіи есть кто-нибудь?

— Ну, ладно, — сказалъ сторожъ, надѣвая шапку. — Пойдемте! — обратился онъ къ намъ... — Стойте, правда, покурить сверну... У васъ есть ли табакъ-то? а то дамъ... вертите, здѣсь можно... торопиться-то все одно некуда.

Мы посидѣли, покурили, удовлетворили его любопытство относительно того, откуда насъ пригнали, и уже послѣ этого онъ повелъ насъ, опять городомъ, въ мѣщанскую управу.

Помѣщеніе управы находилось во второмъ этажѣ бѣлаго каменнаго дома, стоявшаго на площади. Когда мы пришли туда, тамъ не было никого, — ни писарей, ни старосты. Сторожъ повелъ насъ внизъ, гдѣ находилось полицейское управленіе, казармы для городовыхъ и „сѣвѣжая“, т. е. вонючая, грязная, кишачая клопами, полутемная каморка...

Въ комнатѣ полицейскаго управленія сидѣлъ спиной къ двери, за большимъ, покрытымъ черной клеенкой столомъ, черный, пожилой писарь и

что-то строчилъ. Сторожъ ввелъ насъ и, поставя на порогъ, подалъ ему бумаги и отрекомендовалъ насъ. Писарь поглядѣлъ въ бумаги, фыркнулъ носомъ, оглянулся и, уставя на насъ мутные глаза, спросилъ у меня:

— Кто ты такой?

Я сказалъ.

— Врешь, можетъ, а?—сказалъ онъ.—Точно-ли ты здѣшній мѣщанинъ? Есть у тебя въ городѣ, кто-бы могъ удостовѣрить твою личность?

— Я приписной,—сказалъ я,—живу не въ городѣ, а въ деревнѣ. Но все-таки у меня найдется здѣсь человекъ, который можетъ удостовѣрить мою личность.

— Кто такой?

Я опять сказалъ.

— А... ну, ладно! Что-жъ ты въ Питеръ-то—пропился, что-ли?

Я промолчалъ. Онъ перевелъ глаза на старика и спросилъ:

— Ну, а ты кто? тоже здѣшній?

— Здѣшній.

— Врешь?.. Подлецы вы, ребята, ей-Богу! Намедни тоже привели одного; говорить здѣшній, а потомъ оказалось, — не здѣшній, а изъ Углича... Народъ тоже... Ну, что-жъ?.. веди ихъ въ холодную,—обратился онъ къ сторожу,—пусть ночуютъ, завтра отпустимъ...

Вслѣдъ за сторожемъ мы вышли въ переднюю... Здѣсь сидѣлъ на скамейкѣ и дремалъ старый, сѣдой, должно быть, еще бывшій Николаевскій солдатъ, дежурный городской. Около того мѣста, гдѣ онъ сидѣлъ, была дверь съ знакомымъ отверстіемъ по срединѣ. Инвалидъ нехотя поднялся съ насиженного мѣста, нехотя отперъ эту дверь и сдѣлалъ движеніе рукой, означавшее: „пожалуйте, господа!“

Мы вошли и, ничего не видя со свѣту, остановились у порога.

Въ полутьмѣ кто-то засмѣялся и сказалъ:

— Ну вотъ, и сваты пріѣхали!

— Здорово живете,—сказалъ старикъ.

— Здравствуй! — отвѣтилъ кто-то, — милости просимъ!.. васъ только и не хватало.

Я оглядѣлся и увидалъ, что на полу, подложивъ подъ голову верхнюю одежду, лежатъ босые, въ однѣхъ рубахахъ, два мужика: одинъ старый, сѣдобородый, худой и длинный, другой молодой, коренастый, съ круглымъ, точно надутымъ лицомъ, съ обнаженными по локоть руками...

Они оба глядѣли на насъ. Старый серьезно и строго, а молодой съ улыбкой, весело игравшей на толстыхъ губахъ.

— Что за народъ?—спросилъ мой старикъ, усаживаясь на полъ къ печкѣ, — православные аль нѣтъ?

— А вы откуда прибыли?—спросилъ молодой.

— Мы изъ Питера.

— Этапомъ?

— Само собой...

— Золотая рота... жулье, значить!

— Какъ хошь понимай, землякъ... А вы кто? графья, что-ли?..

— Мы-то?.. мы—староста!..

— Та-а-къ! Что-жъ вы тутъ сидите? За какое дѣло?

— Да опять же за оброкъ!

— За какой оброкъ?

— Да брось, Гурій,—сказаль старый мужикъ,— что связался съ дерьмомъ... Какое имъ дѣло.

— За васъ вотъ, чертей, и сидимъ,—продолжалъ молодой.— Ты кто, крестьянинъ, что-ли?.. Оброкъ-то, небось, и забылъ, когда платилъ. А съ нашего брата требуютъ: давай!.. А не собралъ во время—на съѣзжую вшей парить, понялъ?..

— Понялъ... Признаться, я не крестьянинъ, а только все одно, гдѣ взять-то?.. Взять негдѣ—не возьмешь... дубиной не выбьешь... Зря васъ здѣсь морять...

— Начальство знаетъ, зря ли, нѣтъ ли,—сказаль старый,—ты вотъ сиди!..

— Ну, а харчи-то какъ, казенныя?

— Захотѣлъ, казенныя!.. свои, на своихъ, другъ, лепешкахъ...

— Плохо!

— Да, не важно... Ну, а вы какъ?.. расскажи, братъ...

Старикъ сталъ рассказывать, а я снялъ съ себя пальтишко, разулся и, положивъ все это на полу, легъ навзничь.

Въ передней инвалидъ зажегъ лампу. Свѣтъ отъ нея проникъ въ вашу конуру сквозь дверную щель и легъ по грязному полу-тусклой полосой. Съ полу несло вонючей сыростью... Черный, низкій потолокъ мрачно висѣлъ надъ головами, точно собираясь упасть и раздавить насъ. По угламъ сгустился мракъ черный, какъ чернила. Клопы, тихо шурша, бѣгали по стѣнѣ и падали на полъ. Гдѣ-то за стѣной громко стучали: кололи дрова...

— Семень!—окликнулъ вдругъ меня старикъ.— Ты чего-же это, спишь, что-ли?

— Нѣтъ.

— Гдѣ ты тутъ? Не видать въ потьмахъ-то!

— Здѣсь я. А что?..

Старикъ подползъ по полу ко мнѣ и легъ рядомъ.

— Знаешь что?—шепотомъ спросилъ онъ.

— А что?

— Сколько у насъ капитала?

— Ну, сколько?

— Пятнадцать монетъ, вотъ сколько! Мы,—онъ зашепталъ еще тише,—завтра съ тобой выпьемъ... Какую я, братецъ мой, штуку обмозговалъ... Очень ловко!..

— Какую?..

— Помалкивай!.. Узнаешь.—Онъ помолчалъ и потомъ, шепотомъ и тихо хихикая, заговорилъ:— Мы вотъ что... купимъ завтра пару лаптей, —больше пятиалтыннаго не дадимъ. Портянки у насъ есть, веревочекъ выпросимъ... Понялъ?

— Нѣтъ, не понялъ,—отвѣтилъ я, дѣйстви-тельно не догадываясь, къ чему онъ клонить рѣчь.

— Не понялъ... Эхъ ты, Антонъ!.. А сапоги-то!

— Ну, что сапоги?

— А сапоги по боку!—воскликнулъ онъ уже вслухъ и радостно засмѣялся.—Чудакъ!—продолжалъ онъ.—Твои да мои, двѣ пары. Какъ ни плохи, а все, на худой конецъ клади, полторы бумажки дадутъ... Ловко, а?! Шарикъ у меня еще работаетъ, а?..

— Ловко!—согласился я, улыбнувшись.

— То-то, чудачекъ!—радовался старикъ, точно открылъ Америку.—Шарикъ-то у меня работаетъ! Главное дѣло, я и такъ думалъ и эдакъ, все выходитъ: не нужны сапоги! На кой ихъ лядъ?! Здѣсь провинція, и въ лаптяхъ сойдетъ. Куда ходить-то!.. Ужъ и выпьемъ мы утромъ... эхъ!.. Колбаски возьмемъ, велимъ поджарить рубца, чайку съ баранками. Баранки здѣсь, братъ, пекутъ, во всей Россіи не найдешь... патока!.. Что всамдѣль, наголодались мы. Хотя часъ, да нашъ! А счастье, братъ Семенъ

не въ однихъ сапогахъ ходить... Наплевать на нихъ, да и вся недолга!..

Все это онъ говорилъ, волнуясь и радуясь, какъ ребенокъ, получившій новую игрушку. Я слушалъ его, и мнѣ стало весело.

— Въ какомъ угóдно положеніи можетъ, значить, найти себѣ человѣкъ радость,—думалось мнѣ.—Чего-жъ я-то? Да не все ли равно... такъ-то, пожалуй, и лучше. Вѣдь не въ сапогахъ же, на самомъ-то дѣлѣ, счастье-то ходить... „Хоть часъ, да нашъ“... и вѣрно, хоть часъ!..

XXIX.

Утромъ, на другой день, часу въ десятомъ, насъ повели наверхъ къ старостѣ. Староста и писарь знали меня лично и сейчасъ же отпустили. Отпустили и старика. Мою казенную шапку отъ меня отобрали. Спасибо, писарь выручилъ: далъ мнѣ какой-то рваный заваляшійся картузишко. Я надѣлъ его, сказалъ спасибо и, не помня себя отъ радости, сбѣжалъ по лѣстницѣ на улицу. Мнѣ не вѣрилось, что я на свободѣ, что могу идти и дѣлать, что хочу, что позади меня нѣтъ какого-нибудь солдата или сторожа...

— Погоди, что ты раскакался,—остановилъ меня старикъ.—Вырвался на свободу-то, какъ же-ребецъ... Радъ радехонекъ!

Я посмотрѣлъ на него. Онъ улыбался во весь ротъ, глаза весело играли. Онъ точно помолодѣлъ и выросъ.

— Значить того... пьемъ?—сказалъ онъ.—Перво наперво вотъ что: идемъ лапти купимъ, а тамъ увидимъ...

Мы скоро нашли и сторговали за пятиалтын-ный пару берестовыхъ лаптей и тутъ же, въ лавченкѣ, нарядились въ нихъ. Лавочникъ, снисходя къ нашему положенію, далъ намъ даромъ по бичевкѣ, которыми мы и скрутили икры ногъ, при-крѣпивъ предварительно бичевки къ лаптямъ.

Сдѣлавъ такъ, мы пошли и продали какому-то цыгану у трактира на конной за рубль семьдесятъ пять коп. двѣ пары нашихъ сапогъ.

— Теперь куда-же?—спросилъ старикъ.

— Куда?—отвѣтилъ я и, засмѣявшись, крикнулъ,—пока что—„одна открыта торная дорога къ кабаку“!..

— Вѣрно! — согласился старикъ.

Туда мы и направились...

